

**Н.М. Миркурбанов,
Г.Ф. Голева**

ЛИТЕРАТУРА

*Учебник для 10 класса средних образовательных
школ и средних специальных, профессиональных учебных
заведений с русским языком обучения*

Первое издание

**Утверждён Министерством народного образования
Республики Узбекистан**

Часть первая



**Издательско-полиграфический творческий дом имени Чулпана
Ташкент – 2017**

УДК 821.512.133(075)
ББК 83.3(0)я721
М 63

Ответственный редактор

Н.М. Миркурбанов — кандидат филологических наук,
профессор

Рецензенты

А.С. Лиходзиевский — доктор филологических наук,
профессор УзГУМЯ

О.А. Кирилина — учитель русского языка и
литературы школы № 19 г. Ташкента

**Издано за счет средств
Республиканского целевого книжного фонда**

ISBN 978-9943-05-983-2

© Н.М. Миркурбанов и др., 2017
© ИПТД имени Чулпана, 2017



ОТ АВТОРОВ

Дорогие школьники и уважаемые учителя!

У вас в руках учебник-хрестоматия, созданный на основе довольно широкого круга научных и литературно-критических работ ученых, критиков и педагогов. Большая часть книги посвящена русской классической литературе второй половины XIX века. Наряду с этим, в учебнике нашли место историко-литературные обзоры узбекской и западноевропейской литературы. В теоретических главах учебника излагаются основные историко-литературные, в том числе и биографические сведения о писателях и поэтах, даётся характеристика их творчества и анализ программных художественных произведений. Проверить и закрепить учащимся знания по пройденному материалу помогут вопросы и задания, помещенные в конце каждой статьи.

Авторы-составители подобрали к теоретическим главам книги художественные произведения русских писателей, поэтов и драматургов. Надеемся, что такой формат учебника поможет учащимся не только узнать и понять литературную и общественно-политическую жизнь эпохи, в которой жили и творили выдающиеся мастера художественной словесности, но и прочувствовать, а значит, полюбить их творения, вошедшие в сокровищницу мирового литературного наследия. Ограниченный объем учебника не даёт возможности внести в книгу в полном объёме все художественные произведения, анализируемые в теоретических главах. Думается, что после профессионального и увлеченного рассказа учителя, старшеклассники непременно обратятся к полным художественным текстам, которые найдут в школьной, районной, городской библиотеке или же на просторах сети интернет.

Завершает учебник «Краткий словарь литературоведческих терминов», который поможет учащимся при изучении и анализе художественных текстов.

Учебник-хрестоматия в полной мере соответствует Государственному стандарту и учебно-методическому комплексу по литературе для 10 класса средних образовательных школ и средних специальных, профессиональных учебных заведений Республики Узбекистан с русским языком обучения, концепции литературного образования и обязательному минимуму содержания образования, утвержденному Министерством народного образования РУз.

Авторы-составители с благодарностью и внимательно рассмотрят любые предложения, направленные на совершенствование формата и содержания учебника-хрестоматии.

В настоящем учебнике-хрестоматии частично использованы материалы из учебного пособия «Литература» для профессиональных колледжей с русским языком обучения, созданного авторским коллективом (Миркурбанов Н.М., Варфоломеев И.П., Голева Г.Ф., Чекулина Н.А.) под общей редакцией профессора Миркурбанова Н.М. в 2007 году.





ПРЕДИСЛОВИЕ

Художественная литература существует много веков. Во все времена для нее придумывали бесчисленные своды правил, ее пытались подчинить разнообразным строгим требованиям — напрасно. Литературу нельзя переписать заново, нельзя подправить и даже уничтожить. Правда, не всегда литература может плохого человека сделать хорошим и уж точно ей не под силу остановить войны и сделать всех людей счастливыми. Но талантливые произведения художественной литературы способны пробуждать в человеке добрые чувства, передавать искреннюю радость или пронзительную боль уже давно ушедших поколений миллионам новых читателей. Это дает все основания считать литературу страной живых картин и чувств.

Литература, как известно, по сути своей диалогична, имеется в виду не только диалог автора с читателем, но и то, что люди через литературу общаются со всеми поколениями, жившими в разные эпохи и представлявшими разные культуры.

История литературы — это не просто хроника вымышленных людских судеб, а яркая и многоцветная панорама жизни человечества, и потому объектом литературы, как в прошлом, так и в наши дни была и остается, говоря словами Александра Сергеевича Пушкина, «судьба человеческая, судьба народная».

XIX век принято называть «золотым веком» русской литературы. Он отмечен довольно успешными поисками новых литературных направлений. Первая половина века ознаменована великими творческими свершениями В.А. Жуковского, А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, воплотивших в своих произведениях лучшие стороны русского романтизма.

Но идея свободы личности от общественных законов, которую утверждали романтики, не выдержала проверки жизнью. Человек, живущий в обществе, не мог быть свободным от него, зависимость каждого человека от общества убедительно показывал реализм, потеснивший в середине века романтизм.

В истории литературы реализм часто определяют как явление, пришедшее на смену романтизму, спорящее с романтизмом. Отчасти это, видимо, так, но никто не будет отрицать, что реализм является логической эволюционной фазой в развитии литературы и искусства. Серьезный, временами довольно вдумчивый и взвешенный, иногда метущийся и рефлексивный реализм вырос всё-таки из восторженных юношеских порывов романтизма. Поэтому в реалистических произведениях интерес к исключительным обстоятельствам и исключительной личности, свойственный романтизму, сменился интересом к повседневному существованию обыкновенных людей.

Литературу с полным правом называют летописью времен, и хотя заботы и устремления людей, живших сто и более лет назад, часто не совпадают, а иногда кажутся нелепыми в глазах их потомков, есть основные, в принципе «неизживаемые» проблемы человечества, которые волновали писателей во все времена. Потрясения человеческой души от встречи с добром и злом, любовью и смертью, гражданский подвиг и карьера, проблемы семьи и брака, обретение и потеря родины и многое другое были характерными мотивами литературы XIX века. Опыт мучительных, подчас трагических исканий героев русской литературы XIX века не просто интересен, а необходим каждому человеку, живущему в современном мире.

В настоящем учебнике затрагиваются преимущественно те факты из жизни писателей, которые имели особое значение для их творчества, а все, кто заинтересовался биографическими деталями, могут обратиться к специальным справочникам, мемуарам и филологическим трудам. Беседы о литературе и писательском мастерстве не будут сугубо профессиональными, и поэтому авторы старались как можно меньше использовать литературоведческие термины. Словом, эта книга адресована не только тем, кто испытывает потребность в чтении книг, в размышлениях о прочитанном, но и тем, кто только готовится открыть для себя прекрасный и неисчерпаемый мир художественной литературы, ее образов, идей и сюжетов.

*Член-корреспондент Российской академии педагогических и социальных наук, профессор кафедры русской литературы и методики преподавания ТГПУ имени Низами
Миркурбанов Насирулла Мирсултанович*





ВВЕДЕНИЕ

Основным методом изображения жизни в литературе второй половины XIX века стал реализм. В условиях общественно-политической борьбы происходило размежевание не только социальных, но и литературных сил. Однако писатели-реалисты второй половины XIX века едины в главных принципах изображения жизни: они изучают жизнь во всех ее проявлениях, стремясь найти корни социальных бедствий и тем самым наметить пути и средства их преодоления.

В сознании читателя XIX века литература была не только «изящной словесностью», но и основой духовного бытия нации. Русский писатель относился к своему творчеству по-особому: оно было для него не профессией, а служением. «Учебником жизни» называл литературу Чернышевский, а Лев Толстой впоследствии удивлялся, что эти слова принадлежат не ему, а его идейному противнику.

Русская классическая литература всегда преследовала живую духовно-практическую цель. «Слово воспринималось не как звук пустой, а как дело».

С 1855 года в общественной жизни России зарождаются, а к 1859 году уже вступают в бескомпромиссную борьбу две исторические силы – революционная демократия и либерализм.

Общественное движение 60-х годов проходит в своем развитии три этапа: на первом этапе (с 1855 по 1858) происходит размежевание общественных сил, на втором – (с 1859 по 1861) идет напряженная борьба между ними, а на третьем этапе (с 1862 по 1869) обнаруживается резкий спад движения, завершающийся наступлением жестокой реакции.

60-е годы – один из самых сложных и противоречивых периодов в русской истории XIX века. Россию сотрясали социальные катаклизмы, которые привели к пробуждению и росту общественного самосознания и стремительному развитию всех форм духовной жизни. Это было время бурных политических дебатов, духовных исканий, столкнове-

ний разных мнений и взглядов. Борьба охватила все: общественную жизнь, журналистику, литературу, искусство, науку.

Но первому этапу развития общественного движения (1855–1858) предшествовали события, которые на целых семь лет погрузили общество в мрачный период репрессий.

До этого заметную роль в формировании национального самосознания русской интеллигенции, в ее поисках верного пути общественного развития сыграли социалисты-утописты и демократы, объединившиеся в кружок М.В. Буташевича-Петрашевского (кружок «петрашевцев»). Весной 1849 года этот кружок был разгромлен царским правительством, само общественное движение заглохло надолго, вплоть до 1855 года, когда начался процесс размежевания общественных сил. Помимо этого, важнейшее историческое событие – Крымская война (1853–1856) – оказало колоссальное влияние на характер политических процессов, вызванных неудовлетворительным состоянием экономики, военной отсталостью России. Все это способствовало обострению социально-политической ситуации в стране, приведшей в 1861 году к освобождению крестьян от крепостничества.

Во всех слоях русского общества вызревало глухое недовольство политикой правительства. Со смертью Николая I завершился один из самых мрачных периодов русской истории. Наступило время, когда, по словам известного публициста-демократа Н.В. Шелгунова, «всякий захотел думать, читать и учиться, и когда каждый, у кого было что-нибудь за душой, хотел высказать это громко».

В 1855 году в Лондоне начал выходить альманах «Полярная звезда», а с 1857 года Александр Герцен вместе с Николаем Огаревым приступили к изданию знаменитого «Колокола».

Этими событиями и завершился общественный подъем 1860-х годов. Важной особенностью общественно-политического движения данного периода было то, что главную роль в нем играли разночинцы – выходцы из мелкого чиновничества, духовенства и купечества, т.е. люди не дворянского сословия. В отличие от дворян, разночинцы не горди-

лись своей родословной и заслугами предков. У них было свое представление о жизни, свои жизненный уклад и традиции, своя философия, свое искусство. Но в их среде не было идейного единства.

Идейная разобщенность разночинцев объяснялась, прежде всего, тем промежуточным положением, которое они занимали в русском обществе: между правящим классом — с одной стороны и бесправным и угнетенным крестьянством — с другой. Сказывалось и то, что они были выходцами из разных сословий, испытывая сильнейшее воздействие той среды, которая формировала их взгляды. Поэтому разночинцы придерживались самых различных воззрений — от революционно-демократических до либеральных, а порой и консервативных.

Сложность и противоречивость общественного движения 60-х годов, идейно-политические разногласия, полемика по самым различным вопросам и литературная борьба наиболее полно отразились в журналистике. Уже в самом начале общественного подъема в России появилось около 150 новых газет, журналов и всякого рода листков. На страницах периодических изданий развернулась борьба между различными партиями и обществами за утверждение своих идей, своих философских взглядов.

С конца 50-х годов в стране начала складываться революционная ситуация, Россия оказалась перед реальной возможностью демократической революции. Это понимало и царское правительство. И, чтобы разрядить обстановку, 19 февраля 1861 года царь подписал манифест об отмене крепостного права. Крестьяне ждали не только освобождения от крепостной зависимости, но и хотели получить землю. Царский манифест не решил земельную проблему, а потому был воспринят крестьянами с чувством разочарования и недовольства. Начались крестьянские волнения.

Половинчатость реформ вызвала осуждение и в среде демократически настроенной интеллигенции, в первую очередь, в лагере радикально настроенных демократических кругов. Обстановка в стране накалялась. В самом начале 1862 года возникло тайное общество «Земля и воля». Его ру-

ководители, создавая программу, сделали попытку разработать теоретические и организационные основы, стратегию и тактику крестьянского восстания. Основные положения программы были изложены в воззвании «Что нужно народу?», написанном Огаревым. В нем содержались требования созыва бессословного народного собрания, создания самоуправляемых крестьянских общин, выборного правительства, утверждалось право крестьян на землю. Общество просуществовало до 1864 года, набиравшая силу реакция вынудила его самораспуститься.

Параллельно с «Землей и волей» возникло террористическое общество — «Организация», руководители которого считали необходимым перейти к активным действиям — к террору. В «Организации» горячо обсуждался вопрос о царевубийстве, но в этом вопросе не было единства, многие члены общества считали подобные действия преждевременными. И все же один из членов московского отделения «Организации» Дмитрий Каракозов 3 апреля 1866 года совершил неудачную попытку покушения на Александра II. Это привело к разгулу правительственной реакции: Каракозов был казнен, начались массовые аресты, закрыты журналы «Современник» и «Русское слово».

Русские либералы 60-х годов выступали за искусство «реформ сверху», «без революций». Но в их кругах вскоре обозначились серьезные разногласия между западниками и славянофилами. Западники отсчитывали начало исторического развития России с преобразований Петра I. К допетровской истории они относились скептически, и до Петра, на их взгляд, ее как бы и не было.

Из этого они вывели парадоксальную мысль о великом преимуществе русского народа: русский человек, свободный от груза исторических традиций, может оказаться прогрессивнее любого европейца. Западники полагали, что молодой нации легче заимствовать самое передовое в общественном устройстве, науке и практике Западной Европы и, пересадив все это на русскую почву, совершить мощный скачок вперед.

К примеру, М.Н. Катков на страницах основанного им в 1856 году либерального журнала «Русский вестник» про-

пагандирует английский путь социальных и экономических реформ: освобождение крестьян с землей при выкупе ее правительством, предоставление дворянству прав местного государственного управления по примеру английских лордов.

Славянофилы тоже отрицали изжившие себя «формы старины». Но заимствования они считали возможными лишь в том случае, если они прививались к самобытным национально-историческим корням. Славянофилы полагали, что Русь с принятием христианства была образованнее Запада, но «дух и основные начала» русской образованности существенно отличались от западноевропейских.

Западная Европа унаследовала древнеримскую культуру в широком понимании этого термина, отличавшуюся рассудочностью, преклонением перед буквой юридического закона. Римская культура наложила свой отпечаток и на западноевропейское христианство: подчинение веры логическим доводам рассудка.

В России многое складывалось иначе. У отцов восточной церкви на первом месте стоял не разум, не рассудочность, а высшее единство верующего духа.

Славянофилы и русскую государственность считали своеобразной, так как в России не существовало двух враждебных сторон — завоевателей и побежденных, общественные отношения в ней складывались не только на основе законодательно-юридических актов. Самобытная русская организация общества была обусловлена ее общинным характером: маленькие сельские общины сливались в более крупные областные объединения, из которых возникало единство земель во главе с князем.

Петровские реформы, по мнению славянофилов, круто сломали естественный ход русской истории.

Европеизация России для славянофилов — угроза самой сущности русского национального бытия. Они выступали за свободу слова, за решение государственных вопросов на Земском соборе, состоящем из представителей всех сословий. Они возражали против введения в России форм буржуазной демократии, считали необходимым сохранение самодержавия. Государь должен выслушивать точки зрения всех

сословий, но принимать решение единолично, в согласии с христианским духом добра и правды.

Литературно-критическая программа славянофилов была органично связана с их взглядами. Эту программу они провозгласили в издаваемой в Москве «Русской беседе».

Славянофилы не принимали в русской прозе и поэзии социально-аналитических начал, им был чужд тонкий психологизм, в котором они видели болезнь современной личности, «европеизированной», оторвавшейся от народной почвы, от традиций национальной культуры. Именно такую манеру находит К.С. Аксаков в ранних произведениях Л. Толстого с его «диалектикой души», в повестях И. Тургенева о «лишнем человеке». В отличие от славянофилов, западники в лице П.В. Анненкова и А.В. Дружинина отстаивают традиции «чистого искусства», обращенного к «вечным» вопросам и чуждающегося злободневности.

А.В. Дружинин в статье «Критика гоголевского периода в русской литературе и наши к ней отношения» сформулировал два теоретических представления об искусстве: «дидактическое» и «артистическое».

Дидактические поэты, по его словам, хотят прямо воздействовать на современный быт, нравы человека. Они хотят поучать и часто достигают своей цели. Но их поучения многое теряют «в отношении вечного искусства». Подлинное искусство не имеет ничего общего с поучением. Поэт-артист «изображает людей, какими их видит, не предписывая им исправляться, он не дает уроков обществу... Он живет среди своего возвышенного мира и сходит на землю, как когда-то сходили на нее олимпийцы, твердо помня, что у него есть свой дом на высоком Олимпе».

Бесспорным достоинством западников было внимание к специфике литературы, к отличию ее языка от языка науки, публицистики, критики. Характерен также интерес к непреходящему и вечному в классической литературе. Но вместе с тем, попытки отвлечь писателя от жизни, современности, приглушить авторскую субъективность, недоверие к произведениям с ярко выраженной общественной направленностью свидетельствовали о либеральной умеренности и ограниченности их взглядов.

Общественным течением 60-х годов, снимавшим крайности славянофилов и западников, было «почвенничество», духовным вождем которого был Ф.М. Достоевский, издававший журналы «Время» (1861–1863) и «Эпоха» (1864–1865). Его сподвижниками являлись литературные критики А.А. Григорьев и Н.Н. Страхов.

Почвенники в некоторой степени унаследовали взгляд В.Г. Белинского на русский национальный характер: «Россию нечего сравнивать со старыми государствами Европы, которых история шла диаметрально противоположно нашей и давно уже дала цвет и плод... Известно, что французы, англичане, немцы так национальны каждый по-своему, что не в состоянии понимать друг друга, тогда как русскому равно доступны и социальность француза, и практическая деятельность англичанина, и туманная философия немца».

Почвенники говорили о «всечеловечности» как характерной особенности русского народного сознания, которую наиболее глубоко унаследовал в русской литературе А.С. Пушкин.

Подобно славянофилам почвенники считали, что «русское общество должно соединиться с народной почвой и принять в себя народный элемент». Но, в отличие от славянофилов, не отрицали положительной роли реформ Петра I и европеизированной русской интеллигенции, призванной нести народу просвещение и культуру, но только на основе народных нравственных идеалов.

Идеи и убеждения позднего Белинского подхватили и развили в 60-е годы революционно-демократические критики Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов.

К 1859 году, когда правительственная программа и взгляды либеральных партий прояснились, когда стало очевидно, что реформа «сверху» во всех ее вариантах будет половинчатая, революционеры-демократы пришли к разрыву с либералами и бескомпромиссной борьбе с ними.

На этот этап общественного движения падает деятельность Н.А. Добролюбова. Обличению либералов он посвящает «Свисток» – специальный сатирический отдел журнала «Современник». Здесь Добролюбов выступает не только как

критик, но и как сатирический поэт. Начиная с 1859 года, революционеры-демократы начали проводить идею крестьянской революции. Ядром будущего социалистического устройства они считали крестьянскую общину, но, в отличие от своих оппонентов, считали, что общинное владение землей держалось не на христианских, а на революционно-освободительных, социалистических инстинктах русского мужика.

Добролюбов стал основателем оригинального критического метода. Свой метод Добролюбов называл «реальной критикой». Критик берет инициативу в свои руки, объясняет с революционно-демократических позиций причины, породившие то или иное явление, и затем произносит над ним приговор.

Положительно оценивая роман Гончарова «Обломов», критик утверждает, что «автор не дает и, по-видимому, не хочет дать никаких выводов». Достаточно того, что он «представляет вам живое изображение и ручается только за сходство его с действительностью». Для Добролюбова подобная авторская объективность вполне приемлема, так как объяснение и приговор он берет на себя. Реальная критика приводила Добролюбова порой к таким радикальным выводам, которые никак не предполагали сами авторы. На этой почве произошел решительный разрыв И.С. Тургенева с «Современником».

Спад общественного движения 60-х годов. Полемика между «Современником» и «Русским словом». Манифест 19 октября 1861 года не только не смягчил, но еще более обострил противоречия. Правительство перешло к открытому наступлению на передовую мысль: были арестованы Н.Г. Чернышевский и Д.И. Писарев, на восемь месяцев закрыт «Современник». Положение усугубляется расколом внутри демократического движения. Деятели «Русского слова» Д.И. Писарев и В.А. Зайцев выступили с резкой критикой «Современника» за его идеализацию крестьянства, преувеличенное представление о демократических убеждениях русского мужика.

Писарев утверждал, что русский крестьянин не готов к сознательной борьбе за свою свободу, что в массе своей он

темен и забит. Писарев видел в демократах-разночинцах силу, несущую народу естественнонаучные знания. Эти знания не только разрушают основы официальной идеологии (православия, самодержавия, народности), но и открывают народу глаза на естественные потребности человеческой природы – свободное волеизъявление.

Для того чтобы просветительский процесс совершался быстрее и эффективнее, Писарев предложил русской демократии «принцип экономии сил» и пропаганду в народе полезности естественных наук. Во имя этого Писарев предполагал отказ от искусства, бесполезно отнимающего у демократии много сил.

В статье «Базаров» он восславил торжествующего нигилиста, а в статье «Мотивы русской драмы» «сокрушил» возведенную на пьедестал героиню драмы Островского «Гроза» Катерину. Ниспровергая кумиров старого общества, Писарев опубликовал несколько скандальных статей, направленных против Пушкина, и работу «Разрушение эстетики».

Принципиальные разногласия между «Русским словом» и «Современником» ослабляли демократические силы и явились симптомом спада общественного движения. И только к началу 70-х годов в России наметились первые признаки нового общественного подъема, связанного с деятельностью народников – второго поколения демократов, осуществивших бесполезную попытку поднять народ против самодержавия. Это «хождение в народ» завершилось в 1874 году провалом, начались судебные процессы.

Народническая организация «Земля и воля» раскололась. Возникает новая организация – «Народная воля», провозгласившая своей главной целью политический переворот и террористические формы борьбы. Летом 1880 года Александр II чудом спасается от гибели. Это событие вызывает шок, и правительство решает пойти на уступки. Казалось, Россия стоит на пороге принятия парламентской формы правления. Однако 1 марта 1881 года совершается роковая ошибка: народовольцы убивают Александра II, и вслед за этим в стране наступает жестокая реакция.

Эти кризисные годы русской истории характеризуются расцветом консервативной идеологии. Одним из ярких гла-

шатаев этой идеологии был К.Н. Леонтьев, считавший, что главным признаком упадка культуры является распространение либеральных и социалистических идей с их культом равенства и всеобщего благоденствия.

Леонтьев – принципиальный противник самой идеи социального прогресса. Он – за сильную монархическую власть и строгую церковность.

Консервативная идеология – порождение глубокого кризиса народничества 80–90-х годов, исповедовавшего «теорию малых дел», которая в 90-е годы оформляется в утопическую программу «государственного социализма». Согласно этой теории, правительство непременно перейдет на сторону крестьянских интересов, что может привести народ к социализму мирным путем.

Разочарование в политических и террористических формах борьбы с социальным злом сделало актуальной толстовскую проповедь нравственного совершенствования. Именно в этот период в творчестве Л. Толстого складывается религиозно-этическая концепция обновления жизни. Толстовство становится одним из самых популярных общественных течений. В эти же годы обретает известность учение религиозного мыслителя Н.Ф. Федорова.

В основе его концепции «Философия общего дела» лежит дерзкая мысль о великом призвании человека полностью овладеть тайнами жизни, победить смерть и достигнуть богоподобного могущества и власти над силами природы. «Порожденный крошечной землею, – писал Н. Федоров, – зритель безмерного пространства, зритель миров этого пространства должен сделаться их обитателем и правителем».

Влияние литературы на живопись, музыку, театр. Творчество великих писателей второй половины XIX века (Ф. Достоевский, Л. Толстой, И. Тургенев, М. Салтыков-Щедрин), их взгляды воздействовали на развитие живописи, музыки, театра. Выражение коренных интересов народа, изображение подлинной правды жизни, борьба против искусства, чуждого реальности, – вот что определяет движение русской литературы и всего русского искусства XIX века, испытывавшего значительное влияние творчества крупнейших писателей.

В 60-е годы группа выпускников Академии художеств во главе с И.Н. Крамским объединилась в Артель художников. Молодые живописцы были горячими сторонниками взглядов Чернышевского, Добролюбова и замечательного знатока искусства В.В. Стасова.

В начале 70-х годов из Артели выросло Товарищество передвижных выставок. Вплоть до конца 90-х годов оно объединяло многих лучших художников России и пропагандировало передовое искусство. Выставки, организованные в разных городах страны, познакомили общество с такими произведениями реалистического искусства, как «Петр I допрашивает царевича Алексея» Н. Ге, «Рожь» И.И. Шишкина, «Курсистка» Н.Н. Ярошенко, «Утро стрелецкой казни» В.И. Сурикова и многими другими. С передвижниками был связан в начале своего творчества И.Е. Репин, «передвижником» стал и И.И. Левитан.

Благотворное влияние оказала реалистическая литература и критика и на развитие русского музыкального искусства. А.С. Даргомыжский, отстаивая правду жизни в музыке, поддерживает и вдохновляет кружок талантливых молодых музыкантов, названный позднее «Могучей кучкой». Члены этого кружка — М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, И.А. Кюи, А.П. Бородин — были не только музыкантами, но и мыслителями, близкими к Добролюбову и Чернышевскому. «Жизнь, где бы ни сказалась; правда, как бы ни солоня; смелая, искренняя речь к людям», — так определил Мусоргский требования к музыке, выражая мнение «Могучей кучки».

Члены «Могучей кучки» создали произведения, ставшие гордостью русского оперного искусства: «Борис Годунов» и «Хованщина» М. Мусоргского, «Князь Игорь» Бородина, «Снегурочка» и «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова и другие. Реалистическое раскрытие внутреннего мира человека, обращение к сложным философским проблемам нашли слушатели в гениальной музыке П.И. Чайковского.

Лучшие русские актеры и режиссеры второй половины XIX века утверждали реализм на театральной сцене. Школой реализма стал Московский Малый театр, с которым связана деятельность выдающегося драматурга А.Н. Остров-

ского. Среди многих замечательных актеров Малого театра одно из первых мест принадлежит М.Н. Ермоловой, игра которой, исполненная героического пафоса, искренне и ярко воплощала правду жизни и силу человеческих чувств.

С преобразованием русского театра связаны имена таких замечательных театральных деятелей, как В.И. Немирович-Данченко и его соратник – великий актер и театральный педагог К.С. Станиславский.

Созданный ими Московский художественный театр (МХТ) прославился постановками трагедии А.К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» и драмы А.П. Чехова «Чайка».

Вопросы и задания:

- 1. Каковы особенности русской критики и как она связана со спецификой русской литературы?*
- 2. В чем видели западники и славянофилы слабости и преимущества исторического развития России? Определите сильные и слабые стороны их программ.*
- 3. Чем отличается программа «почвенников» от западной и славянофильской?*
- 4. В чем суть принципов «реальной критики» Добролюбова?*
- 5. В чем своеобразие общественных и литературно-критических взглядов Д.И. Писарева?*
- 6. Охарактеризуйте общественное движение России 80-х – 90-х годов XIX в.*
- 7. Приведите примеры влияния литературы на искусство.*





РУССКАЯ ПРОЗА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

История русской литературы — это непрерывная история смены жанров и стилей. Если в начале века в литературе России почти безраздельно господствует поэзия, то первая треть XIX отмечена неуклонным движением к прозе. И как результат — в литературе появляются новые жанровые формы, спаянные из различных жанров. Например, «Евгений Онегин» А.С. Пушкина — роман в стихах, а написанные в прозе «Мертвые души» Н.В. Гоголя — поэма.

Вторая же половина девятнадцатого столетия обозначена безусловным торжеством повествовательных форм. Это совершенно не значит, что поэзия прекращает свое существование. Она лишь уступает своё первенство прозе, пытаясь, правда, при любом благоприятном случае взять реванш в борьбе за власть над умами и чувствами читателей. Очень ярко проявляется эта тенденция в творчестве Тютчева, Фета, Некрасова и др. Но традиции, заложенные Пушкиным, Лермонтовым и Гоголем, в полной мере определили господство индивидуально-авторских стилей в прозе второй половины XIX века. Творчество И.А. Гончарова и И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина и А.П. Чехова — яркое подтверждение сказанному.

Произведения этих писателей уже не находятся в строгой зависимости от жанровой нормативности, и в русской литературе широкое распространение получают такие гибридные жанровые формы, как «Записки охотника» И.С. Тургенева — рассказ и очерк, романы Л.Н. Толстого (роман-эпопея «Война и мир»), Ф.М. Достоевского (философско-идеологический роман), А.П. Чехова (комедия «Вишневый сад», финал которой трагичен) и т.д. Только внимательно и заинтересованно изучив процессы, происходившие в русской прозе XIX в., можно лучше понять жанрово-стилевое разнообразие современной русской литературы.



ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ (1812–1891)



Иван Александрович Гончаров прочно вошёл в русскую и мировую литературу тремя романами: «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв». В своих произведениях автор соотносит внутренние процессы общественного прогресса России с внутренним нравственно-психологическим пробуждением личности от сна и застоя, в этом же ключе он рассматривает общечеловеческие проблемы религии, семьи и эмансипации женщины.

Родом Иван Александрович Гончаров из купеческой семьи. После смерти отца воспитателем детей стал их крёстный отец, отставной моряк, надворный советник Н.Н. Трегубов, о котором писатель с большой нежностью вспоминал в очерке «На родине». С родительским домом у Гончарова были связаны самые светлые воспоминания, как о благословенном уголке земли. В частном пансионе он выучил французский и немецкий языки и пристрастился к чтению, а затем мать, Авдотья Михайловна, отправила Ивана учиться в Московское коммерческое училище, как продолжателя дела отца. Однако Гончаров оставил это учебное заведение и поступил на словесное отделение Московского университета. В университете окончательно определился интерес Гончарова к литературным занятиям.

После окончания университета (в 1834) Гончаров возвратился домой, где недолго состоял в должности секретаря канцелярии Симбирского губернатора, а в 1855 году навсегда вернулся в Петербург, поступив на службу в департамент

внешней торговли Министерства финансов в качестве переводчика. У Гончарова завязалась крепкая дружба с семейством академика живописи Н.А. Майкова (Гончаров преподаёт его детям — Аполлону и Валериану). Всесторонне образованный Гончаров читал в молодом кружке Майковых лекции по литературе. В этом доме он познакомился с писателями Д.В. Григоровичем и И.И. Панаевым, здесь же он получил шутовское прозвище «Принц де Лень» за свой чрезмерно спокойный, созерцательный характер. Однако, несмотря на своё прозвище, молодой Гончаров отличался собранностью, усидчивостью и работоспособностью.

В марте 1846 года Гончаров знакомится с знаменитым критиком В.Г. Белинским, которому в несколько вечеров прочитывает первую часть романа «Обыкновенная история». «Белинский был в восторге от нового таланта, выступавшего так блистательно...», — вспоминал И.И. Панаев. В 1842 году в журнале «Современник» публикуются роман «Обыкновенная история» и очерк «Иван Савич Поджабрин». И с этого момента наступило время писательской славы Ивана Гончарова.

Нетипичность писателя Гончарова заключается в том, что он никому из своих героев не выносит обличительного приговора, не делает окончательных выводов по отношению к их судьбам, помня о том, какой текучей, изменчивой, противоречивой является человеческая жизнь. Он скорее грустит по поводу им же рассказанной истории и просто просит не забывать прекрасных движений души, которые особенно свойственны человеку в его юности. А потому, по словам Гоголя, «...забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!».

Совершенно естественно, что после успеха «Обыкновенной истории» от Гончарова ждали новых ярких произведений. И писатель не обманул читательские ожидания. В марте 1849 года, Гончаров опубликовал фрагмент замысла «Сон Обломова. Эпизод из неоконченного романа», который сразу же оказался в орбите внимания литераторов. Оценки высказывались самые противоречивые: от крайнего неприятия

до восторга, но продолжения романа не последовало. Писатель вернётся к нему только в 1857 году. А пока склонного к неспешности Гончарова занимает другая проблема: он принимает участие в кругосветном плавании на фрегате «Паллада» в качестве секретаря адмирала Е.В. Путятина.

В октябре 1852 года корабль вышел из Кронштадта. Далее — пересечение экватора, Сингапур, Гонконг, Япония, Филиппины. Плавание прервала Крымская война. 27 июля 1854 года Гончаров был откомандирован в Петербург по суше — через Якутск, Иркутск, Казань, Симбирск, Москву.

Он вернулся из путешествия с портфелем, набитым путевыми заметками, и из них сложилась книга **«Фрегат Паллада»** (1858). Гончарову, как он сам говорил, она принесла «одно приятное, не причинив ни одного огорчения». В книге очерков Гончаров сопоставляет зрелую, промышленно развитую цивилизацию с наивно-восторженной патриархальной молодостью человечества с её верой в чудеса, с её надеждами и сказочными грёзами.

Возраст зрелости буржуазной Англии того времени — это деловитость и практицизм. Любовное отношение к природе сменяется торжеством её покорения, торжеством фабрик, заводов, машин, дыма и пара. Жизнь настолько запрограммирована, что действует как машина.

Вопросы, поднятые Гончаровым, далеко не наивны, они актуальны и сегодня. Совершенно очевидно, что технический прогресс, с его во многих случаях хищническим отношением к природе, вплотную подвёл человека на пороге XXI века к экологической катастрофе.

В 1857 году Гончаров отправился за границу в отпуск, на воды в Мариенбад, куда стекалась вся знать России, и там в течение семи недель завершил первую и написал три другие части романа «Обломов», романа, который так долго вынашивался, хотя замысел его, как вы помните, восходил к 1847 году.

В работе над первой частью романа Гончаров обдумывал назвать его «Обломовщина», что говорит о намерении писателя поставить в центр явление, а не героя. Впоследствии Гончаров не отказался от своего обличительного замысла — всё это в романе осталось, но перестало быть главным.

Фактом вынесения в заглавие романа имя самого героя говорит о том, что теперь центром является не уклад, не история жизни, но сама человеческая личность и её судьба в современном мире.

Мир, возрастивший Илюшу Обломова, с самого начала предстаёт как «благословенный уголок земли», маленькое, укромное пространство, заботливо оберегаемое ласковыми объятьями неба от всяких невзгод.

Все проявления обломовского житья (обычаи, верования, идеалы) сразу же интегрируются в один образ, стержнем которого являются мотивы тишины, покоя, сна. Жизнь этого царства вписана в природный круг, поэтому её суть заключается в извечном повторении, возвращении «на круги своя: от рождения до смерти, от весны до зимы». Обломовцы «другой жизни и не хотели бы, и не любили бы ...». Так жили их прадеды и деды, так хотели жить и они, а потому старались перемен, разнообразия, случайностей, старательно оберегали себя от внешнего мира. Обломовский мир давал его жителям ощущение безопасности в огромном и неизвестном окружающем пространстве.

В романе обнажается сложная взаимосвязь рабства и барства. Идеал существования Обломова — «праздность и покой» — является в той же мере и вожаденной мечтой его слуги Захара, поэтому он в определённом смысле является «барином» над своим господином: полная зависимость от него Обломова даёт возможность и Захару спать спокойно на своей лежанке. Оба они, господин и слуга, — дети Обломовки. Жизнь, похожая на сон, и сон, похожий на смерть, — вот судьба Ильи Обломова. Этот живой образ вызывает у читателя противоречивые чувства: сочувствие и осуждение, симпатию и горечь. Добрый и умный человек, чуждый корысти, карьеризма, угодничества, мечтающий совершить что-нибудь значительное, даже великое для блага общества, он так и остаётся мечтателем, который боится жизни, действия, и постепенно утрачивает в себе духовное начало.

В жизни деловых людей Обломов не видит поприща, отвечающего высшему назначению человека. Так не лучше ли оставаться обломовцем, но сохранить в себе человечес-

кие качества и доброту сердца, чем быть суетным карьеристом, черствым и бессердечным? Обломов лежит на диване не только потому, что как барин может ничего не делать, но и потому, что как человек он не желает жить в ущерб своему нравственному достоинству.

Не таким был антипод Обломова Андрей Штольц, воспитанный в отцовской суровости: «выше всего он ставил настойчивость в достижении цели» и находился «беспрестанно в движении», а потому не терпел обломовского покоя. В Штольце ум преобладает над сердцем. Это натура рациональная, подчиняющая логическому контролю даже самые интимные чувства. Штольц — энергичный, деятельный человек. Но каково же содержание его деятельности? Какие идеалы вдохновляют Штольца? По мере прочтения романа становится ясно, что никаких сколько-нибудь значимых идеалов у него нет, что вся его деятельность направлена на личное преуспевание и мещанский комфорт.

Несмотря на несходство характеров, Андрея Штольца и Илью Обломова постоянно влекло друг к другу. Рядом с рассудительным, твёрдо стоящим на земле Штольцем Обломов чувствовал себя спокойнее, увереннее. Ещё больше нуждался в Обломове Штольц. «Часто, отрываясь от дел или светской толпы», он «ехал посидеть на широком диване Обломова», с тем, «чтобы в ленивой беседе отвести и успокоить встревоженную или усталую душу».

Искреннему и глубокому чувству любви Обломова к Ольге Ильинской противостоит благотворительный подход девушки к этой любви. Она целенаправленно выполняет задание Штольца — спасти Илью Ильича от лени и тяги к покою. И, несмотря на чувство любви, вспыхнувшее в Ольге к Обломову, в этом процессе она непреклонна в методах перевоспитания, превосходя решительного и твёрдого Андрея Штольца. Но что же предлагает Ольга Обломову взамен его лежания на диване? Какой лучезарный идеал: читать газеты, хлопотать по устройству имения, ехать в приказ?

Как писал русский поэт начала XX века И.Ф. Анненский, «Ольга — миссионерка умеренная, уравновешенная. В ней не желание пострадать, а чувство долга... Миссия у неё скромная — разбудить спящую душу. Влюбилась она не в Обло-

мова, а в свою мечту. Робкий и нежный Обломов, который относился к ней так послушно и так стыдливо, любил её так просто, был лишь удобным объектом для её девической мечты и игры в любовь...».

Ольга Ильинская, пытавшаяся спасти Обломова, спрашивает: «Что сгубило тебя? Нет имени этому злу...» — «Есть... Обломовщина», — отвечает Илья Ильич. Мёртвое царство крепостнической Обломовки, вскормившей Обломова, — вот истоки его лени и страха перед жизнью, и он сам это чувствует.

Рассудочно-экспериментальной любви Ольги противопоставлена душевная и сердечная, не управляемая никакой идеей любовь Агафьи Матвеевны Пшеницыной. Поэтому Обломов приходит на Выборгскую сторону, где под уютным покровом её дома находит желанное успокоение. Возможно, это был своеобразный протест против суетного существования, возможно — наказание самого себя за несвершившиеся идеалы. Но он лишён самодовольства и осознаёт своё душевное падение: «Или я не понял этой жизни, или она никуда не годится, а лучшего я ничего не знал, не видал, никто не указал мне его... да, я дряблый, ветхий, изношенный кафтан, но не от климата, не от трудов, а от того, что двадцать лет во мне был заперт свет, который искал выхода, но только жёг свою тюрьму, не вырвался на волю и угас». Когда приходит к нему воспоминание о неисполненных мечтах юности, он «плачет холодными слезами безнадежности о светлом, навсегда угасшем идеале жизни, как плачут о дорогом усопшем...».

Но одни ли жизненные обстоятельства повинны в том, что погиб человек, способный к разумной и полезной деятельности? Ведь многие современники Обломова преодолели их пагубное влияние.

В своей критической статье «Что такое обломовщина?» Добролюбов пишет: «Обломов не тупая апатическая натура, без стремлений и чувств, а человек, тоже чего-то ищущий в жизни, о чём-то думающий, но гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от других развила в нём апатическую неподвижность и повергла его в жалкое состояние нравственного раба». Добро-

любов устанавливает родство героя Гончарова с другими «лишними людьми» — Онегиным, Печориным, Рудиным, и в прежнее время они могли считаться героями, но теперь общество требует других героев. Появление образа Обломова Добролюбов считает «знамением времени», которому бросаются в глаза не возвышенные стремления и разочарованность «лишнего человека», а его бездеятельность, инфантильность.

«Обломов является перед нами разоблачённый, как он есть, молчаливый, сведённый с красивого пьедестала на мягкий диван, прикрытый вместо мантии только просторным халатом. Вопрос: что он делает? в чём смысл и цель его жизни? — поставлен прямо и ясно». В этом видит Добролюбов заслугу И.А. Гончарова.

Как всякий реалистический роман, «Обломов» Гончарова глубоко социален и содержит материал, обличающий общественные пороки. Однако его трудно назвать «антикрепостническим». В этом романе писатель рассказал о самых дорогих человеку жизненных ценностях: родительском доме, его свете и тепле, материнской любви, детской чистоте, о трагедии непонимания людьми друг друга, одиночестве человеческого сердца, о мечте человека и вере в эту мечту. Это роман о человеке, который не хочет быть похожим на других, это роман о «вечном ребёнке».

Последний свой роман — «Обрыв» — Гончаров опубликовал десять лет спустя после «Обломова». Этот роман был особенно дорог писателю, потому что в нём отразились почти все его идеи, понятия и чувство добра, чести, честности, нравственности, веры и т.д. «Обрыв» — прежде всего, психологический роман, обращённый к многосторонней внутренней жизни его героев. Великой и вечной мыслью о сострадании завершил Гончаров свой роман. Поэтому роман закрывает «исполинская фигура» великой «бабушки» — России, средоточия вековой мудрости относительно всего живущего и сострадания ко всем живым.

В последние десятилетия жизни (1870—1891) Гончаров не написал ничего нового, считая себя устаревшим и забытым писателем. Но главную причину его молчания

назвал Ф.М. Достоевский. По его мнению, Гончаров не пишет по причине своего эстетического неприятия современной «текущей» действительности, потому что принадлежит к поколению 40-х годов XIX века, поколению либерально настроенных людей, верящих в прогресс, гуманизм, цивилизацию, которых называли «идеалистами» и «романтиками».

Гончаров — писатель очень актуальный и для нашего времени. Своим творчеством он как бы предупреждает будущие поколения, что развитие человечества органически связано с вековыми и далеко не однозначными национальными культурами и традициями. На исходе XX века человечество осознало, что слишком бесцеремонно обращалось с наследием прошлого, и вот мы всё громче слышим предупреждение окружающего нас мира, что нужно опомниться, оглянуться назад, на те духовные и природные ценности, которые мы с такой непочтительностью предали забвению.



Роман ❁ «ОБЛОМОВ» ❁

Часть 1. Глава 9.

Сон Обломова

(в сокращении)

Где мы? В какой благословенный уголок земли перенес нас сон Обломова? Что за чудный край!

Нет, правда, там моря, нет высоких гор, скал и пропастей, ни дремучих лесов — нет ничего грандиозного, дикого и угрюмого.

Да и зачем оно, это дикое и грандиозное? Море, например? Бог с ним! Оно наводит только грусть на человека: глядя на него, хочется плакать. Сердце смущается робостью перед необозримой пеленой вод, и не на чем отдохнуть взгляду, измученному однообразием бесконечной картины.

Рев и бешеные раскаты валов не нежат слабого слуха: они всё твердят свою, от начала мира одну и ту же песнь мрач-

ного и неразгаданного содержания; и всё слышится в ней один и тот же стон, одни и те же жалобы будто обреченного на муку чудовища да чьи-то пронзительные, зловещие голоса. Птицы не щебечут вокруг; только безмолвные чайки, как осужденные, уныло носятся у побережья и кружатся над водой.

Бессилен рёв зверя перед этими воплями природы, ничтожен и голос человека, и сам человек так мал, слаб, так незаметно исчезает в мелких подробностях широкой картины! От этого, может быть, так и тяжело ему смотреть на море.

Нет, Бог с ним, с морем! Самая тишина и неподвижность его не рожают отрадного чувства в душе: в едва заметном колебании водяной массы человек всё видит ту же необъятную, хотя и спящую, силу, которая подчас так ядовито издевается над его гордой волей и так глубоко хоронит его отважные замыслы, все его хлопоты и труды.

Горы и пропасти созданы тоже не для увеселения человека. Они грозны, страшны, как выпущенные и устремленные на него когти и зубы дикого зверя; они слишком живо напоминают нам бранный состав наш и держат в страхе и тоске за жизнь. И небо там, над скалами и пропастями, кажется таким далеким и недосягаемым, как будто оно отступилось от людей.

Не таков мирный уголок, где вдруг очутился наш герой.

Небо там, кажется, напротив, ближе жметя к земле, но не с тем, чтоб метать сильнее стрелы, а разве только, чтоб обнять ее крепче, с любовью: оно распростерлось так невысоко над головой, как родительская надежная кровля, чтоб уберечь, кажется, избранный уголок от всяких невзгод.

Солнце там ярко и жарко светит около полугода и потом удаляется оттуда не вдруг, точно нехотя, как будто оборачивается назад взглянуть еще раз или два на любимое место и подарить ему осенью, среди ненастья, ясный, теплый день.

Горы там как будто только модели тех страшных где-то воздвигнутых гор, которые ужасают воображение. Это ряд отлогих холмов, с которых приятно кататься, резвясь, на

спине или, сидя на них, смотреть в раздумье на заходящее солнце. Река бежит весело, шая и играя; она то разольется в широкий пруд, то стремится быстрой нитью, или присмирееет, будто задумавшись, и чуть-чуть ползет по камешкам, выпуская из себя по сторонам резвые ручьи, под журчанье которых сладко дремлет.

Весь уголок верст на пятнадцать или на двадцать вокруг представлял ряд живописных этюдов, веселых, улыбающихся пейзажей. Песчаные и отлогие берега светлой речки, подбигающий с холма к воде мелкий кустарник, искривленный овраг с ручьем на дне и березовая роща — всё как будто было нарочно прибрано одно к одному и мастерски нарисовано.

Измученное волнениями или вовсе незнакомое с ними сердце так и просится спрятаться в этот забытый всеми уголок и жить никому не ведомым счастьем. Всё сулит там покойную, долговременную жизнь до желтизны волос и незаметную, сну подобную смерть. <...>

Таков был уголок, куда вдруг перенесся во сне Обломов.

Из трех или четырех разбросанных там деревень была одна Сосновка, другая Вавиловка, в одной версте друг от друга.

Сосновка и Вавиловка были наследственной отчиной рода Обломовых и оттого известны были под общим именем Обломовки.

В Сосновке была господская усадьба и резиденция. Верстах в пяти от Сосновки лежало сельцо Верхлёво, тоже принадлежавшее некогда фамилии Обломовых и давно перешедшее в другие руки, и еще несколько причисленных к этому же селу кое-где разбросанных изб.

Село принадлежало богатому помещику, который никогда не показывался в свое имение: им заведовал управляющий из немцев. Вот и вся география этого уголка.

Илья Ильич проснулся утром в своей маленькой постельке. Ему только семь лет. Ему легко, весело.

Какой он хорошенький, красненький, полный! Щечки такие кругленькие, что иной шалун надуется нарочно, а таких не сделает.

Няня ждет его пробуждения. Она начинает натягивать ему чулочки; он не дается, шалит, болтает ногами; няня ловит его, и оба они хохочут.

Наконец удалось ей поднять его на ноги; она умывает его, причесывает головку и ведет к матери.

Обломов, увидев давно умершую мать, и во сне затрепетал от радости, от жаркой любви к ней: у него, у сонного, медленно выплыли из-под ресниц и стали неподвижно две теплые слезы.

Мать осыпала его страстными поцелуями, потом осмотрела его жадными, заботливыми глазами, не мутны ли глазки, спросила, не болит ли что-нибудь, расспросила няньку, покойно ли он спал, не просыпался ли ночью, не метался ли во сне, не было ли у него жару? Потом взяла его за руку и подвела к образу.

Там, став на колени и обняв его одной рукой, подсказывала она ему слова молитвы.

Мальчик рассеянно повторял их, глядя в окно, откуда лилась в комнату прохлада и запах сирени.

— Мы, маменька, сегодня пойдем гулять? — вдруг спрашивал он среди молитвы.

— Пойдем, душенька, — торопливо говорила она, не отводя от иконы глаз и спеша договорить святые слова.

Мальчик вяло повторял их, но мать влагала в них всю свою душу.

Потом шли к отцу, потом к чаю.

Около чайного стола Обломов увидел живущую у них престарелую тетку, восьмидесяти лет, непрерывно ворчавшую на свою девчонку, которая, трясая от старости головой, прислуживала ей, стоя за ее стулом. Там и три пожилые девушки, дальние родственницы отца его, и немного помешанный деверь его матери, и помещик семи душ, Чекаменев, гостивший у них, и еще какие-то старушки и старички.

Весь этот штат и свита дома Обломовых подхватили на руки Илью Ильича и начали осыпать его ласками и похвалами; он едва успевал утирать следы непрошенных поцелуев.

После того начиналось кормление его булочками, сухариками, сливочками.

Потом мать, приласкав его еще, отпускала гулять в сад, по двору, на луг, с строгим подтверждением няньке не оставлять ребенка одного, не допускать к лошадям, к собакам, к козлу, не уходить далеко от дома, а главное, не пускать его в овраг, как самое страшное место в околотке, пользовавшееся дурною репутацией.

Там нашли однажды собаку, признанную бешеною потому только, что она бросилась от людей прочь, когда на нее собрались с вилами и топорами, и исчезла где-то за горой; в овраг свозили падаль; в овраге предполагались и разбойники, и волки, и разные другие существа, которых или в том краю, или совсем на свете не было.

Ребенок не дождался предостережений матери: он уж давно на дворе.

Он с радостным изумлением, как будто в первый раз, осмотрел и обежал кругом родительский дом с покривившимися набок воротами, с севшей на середине деревянной кровлей, на которой рос нежный зеленый мох, с шатающимся крыльцом, разными пристройками и настройками и с запущенным садом. Ему страсть хочется взбежать на огибавшую весь дом висячую галерею, чтоб посмотреть оттуда на речку; но галерея ветха, чуть-чуть держится, и по ней дозволяется ходить только «людям», а господа не ходят.

Он не внимал запрещениям матери и уже направился было к соблазнительным ступеням, но на крыльце показалась няня и кой-как поймала его. Он бросился от нее к сеновалу, с намерением взобраться туда по крутой лестнице, и едва она успевала дойти до сеновала, как уж надо было спешить разрушать его замыслы влезть на голубятню, проникнуть на скотный двор и, чего Боже сохрани! — в овраг.

— Ах ты, Господи, что за ребенок, за юла за такая! Да посидишь ли ты смирно, сударь? стыдно! — говорила нянька.

И целый день, и все дни и ночи няни наполнены были суматохой, бегом: то пыткой, то живой радостью за ребенка, то страхом, что он упадет и расшибет нос, то умилением от его непритворной детской ласки или смутной тоской за отдаленную его будущность: этим только и билось сердце ее, этими волнениями подогревалась кровь старухи,

и поддерживалась кое-как ими сонная жизнь ее, которая без того, может быть, угасла бы давным-давно.

Не всё резв, однако ж, ребенок: он иногда вдруг присмирееет, сидя подле няни, и смотрит на всё так пристально. Детский ум его наблюдает все совершающиеся перед ним явления; они западают глубоко в душу его, потом растут и зреют вместе с ним. Утро великолепное; в воздухе прохладно; солнце еще невысоко. От дома, от деревьев, и от голубятни, и от галереи — от всего побежали далеко длинные тени. В саду и на дворе образовались прохладные уголки, манящие к задумчивости и сну. Только вдали поле с рожью точно горит огнем, да речка так блестит и сверкает на солнце, что глазам больно.

— Отчего это, няня, тут темно, а там светло, а ужо будет и там светло? — спрашивал ребенок.

— Оттого, батюшка, что солнце идет навстречу месяцу и не видит его, так и хмурится; а ужо как завидит издали, так и просветлеет.

Задумывается ребенок и всё смотрит вокруг: видит он, как Антип поехал за водой, а по земле, рядом с ним, шел другой Антип, вдсятеро больше настоящего, и бочка казалась с дом величиной, а тень лошади покрыла собой весь луг, тень шагнула только два раза по лугу и вдруг двинулась за гору, а Антип еще и со двора не успел съехать.

Ребенок тоже шагнул раза два, еще шаг — и он уйдет за гору. Ему хотелось бы к горе, посмотреть, куда делась лошадь. Он к воротам, но из окна послышался голос матери:

— Няня! Не видишь, что ребенок выбежал на солнышко! Уведи его в холодок; напечет ему головку — будет болеть, тошно сделается, кушать не станет. Он этак у тебя в овраг уйдет!

— У! баловень! — тихо ворчит нянька, утаскивая его на крыльцо.

Смотрит ребенок и наблюдает острым и переимчивым взглядом, как и что делают взрослые, чему посвящают они утро.

Ни одна мелочь, ни одна черта не ускользает от пытливого внимания ребенка; неизгладимо врезывается в душу картина домашнего быта; напITYвается мягкий ум живыми

примерами и бессознательно чертит программу своей жизни по жизни, его окружающей.

Нельзя сказать, чтоб утро пропадало даром в доме Обломовых. Стук ножей, рубивших котлеты и зелень в кухне, долетал даже до деревни.

Из людской слышалось шипенье веретена да тихий, тоненький голос бабы: трудно было распознать, плачет ли она или импровизирует заунывную песню без слов.

На дворе, как только Антип воротился с бочкой, из разных углов поползли к ней с ведрами, корытами и кувшинами бабы, кучера.

А там старуха пронесет из амбара в кухню чашку с мукой да кучу яиц; там повар вдруг выплеснет воду из окошка и обольет Арапку, которая целое утро, не сводя глаз, смотрит в окно, ласково виляя хвостом и облизываясь.

Сам Обломов-старик тоже не без занятий. Он целое утро сидит у окна и неукоснительно наблюдает за всем, что делается на дворе.

— Эй, Игнашка? Что несешь, дурак? — спросит он идущего по двору человека.

— Несу ножи точить в людскую, — отвечает тот, не взглянув на барина.

— Ну неси, неси, да хорошенько, смотри, наточи!

Потом остановит бабу:

— Эй, баба! Баба! Куда ходила?

— В погреб, батюшка, — говорила она, останавливаясь, и, прикрыв глаза рукой, глядела на окно, — молока к столу достать.

— Ну иди, иди! — отвечал барин. — Да смотри, не пролей молоко-то. — А ты, Захарка, постреленок, куда опять бежишь? — кричал потом. — Вот я тебе дам бегать! Уж я вижу, что ты это в третий раз бежишь. Пошел назад, в прихожую!

И Захарка шел опять дремать в прихожую.

Придут ли коровы с поля, старик первый позаботится, чтоб их напоили; завидит ли из окна, что дворняжка преследует курицу, тотчас примет строгие меры против беспорядков.

И жена его сильно занята: она часа три толкует с Аверкой, портным, как из мужниной фуфайки перешить Илю-

ше курточку, сама рисует мелом и наблюдает, чтоб Аверка не украл сукна; потом перейдет в девичью, задаст каждой девке, сколько сплести в день кружев; потом позовет с собой Настасью Ивановну, или Степаниду Агаповну, или другую из своей свиты погулять по саду с практической целью: посмотреть, как наливается яблоко, не упало ли вчерашнее, которое уж созрело; там привить, там подрезать и т.п.

Но главную заботою была кухня и обед. Об обеде совещались целым домом; и престарелая тетка приглашалась к совету. Всякий предлагал свое блюдо: кто суп с потрохами, кто лапшу или желудок, кто рубцы, кто красную, кто белую подливку к соусу.

Всякий совет принимался в соображение, обсуживался обстоятельно и потом принимался или отвергался по окончательному приговору хозяйки.

На кухню посылались беспрестанно то Настасья Петровна, то Степанида Ивановна напомнить о том, прибавить это или отменить то, отнести сахару, меду, вина для кушанья и посмотреть, всё ли положит повар, что отпущено.

Забота о пище была первая и главная жизненная забота в Обломовке. Какие телята утучнялись там к годовым праздникам! Какая птица воспитывалась! Сколько тонких соображений, сколько знания и забот в ухаживанье за нею! Индейки и цыплята, назначаемые к именинам и другим торжественным дням, откармливались орехами; гусей лишали моциона, заставляли висеть в мешке неподвижно за несколько дней до праздника, чтоб они заплыли жиром. Какие запасы были там варений, солений, печений! Какие меды, какие квасы варились, какие пироги пеклись в Обломовке!

И так до полудня всё суенилось и заботилось, всё жило такую полною, муравьиною, такую заметною жизнью.

В воскресенье и в праздничные дни тоже не унимались эти трудолюбивые муравьи: тогда стук ножей на кухне раздавался чаще и сильнее; баба совершала несколько раз путешествие из амбара в кухню с двойным количеством муки и яиц; на птичьем дворе было более стонов и кровопролитий. Пекли исполинский пирог, который сами господа ели еще на другой день; на третий и четвертый день остатки

поступали в девичью; пирог доживал до пятницы, так что один совсем черствый конец, без всякой начинки, доставался, в виде особой милости, Антипу, который, перекрестясь, с треском неустрашимо разрушал эту любопытную окаменелость, наслаждаясь более сознанием, что это господский пирог, нежели самым пирогом, как археолог, с наслаждением пьющий дрянное вино из черепка какой-нибудь тысячетлетней посуды.

А ребенок всё смотрел и всё наблюдал своим детским, ничего не пропускающим умом. Он видел, как после полезно и хлопотливо проведенного утра наставал полдень и обед.

Полдень знойный; на небе ни облачка. Солнце стоит неподвижно над головой и жжет траву. Воздух перестал струиться и висит без движения. Ни дерево, ни вода не шелхнутся; над деревней и полем лежит невозмутимая тишина — всё как будто вымерло. Звонко и далеко раздаётся человеческий голос в пустоте. В двадцати саженьях слышно, как пролетит и прожужжит жук, да в густой траве кто-то всё храпит, как будто кто-нибудь завалился туда и спит сладким сном.

И в доме воцарилась мертвая тишина. Наступил час всеобщего послеобеденного сна.

Ребенок видит, что и отец, и мать, и старая тетка, и свита — все разбрелись по своим углам; а у кого не было его, тот шел на сеновал, другой в сад, третий искал прохлады в сенях, а иной, прикрыв лицо платком от мух, засыпал там, где сморила его жара и повалил громоздкий обед. И садовник растянулся под кустом в саду, подле своей пешни, и кучер спал на конюшне.

Илья Ильич заглянул в людскую: в людской все легли вповалку, по лавкам, по полу и в сенях, предоставив ребятишек самим себе; ребятишки ползают по двору и роются в песке. И собаки далеко залезли в конуры, благо не на кого было лаять.

Можно было пройти по всему дому насквозь и не встретить ни души; легко было обокрасть всё кругом и свезти со двора на подводах: никто не помешал бы, если б только водились вору в том краю.

Это был какой-то всепоглощающий, ничем непобедимый сон, истинное подобие смерти. Всё мертво, только из всех углов несется разнообразное храпенье на все тоны и лады.

Изредка кто-нибудь вдруг поднимет со сна голову, посмотрит бессмысленно, с удивлением, на обе стороны и перевернется на другой бок или, не открывая глаз, плюнет спросонья и, почавкав губами или поворчав что-то под нос себе, опять заснет.

А другой быстро, без всяких предварительных приготовлений, вскочит обеими ногами с своего ложа, как будто боясь потерять драгоценные минуты, схватит кружку с квасом и, подув на плавающих там мух, так, чтоб их отнесло к другому краю, отчего мухи, до тех пор неподвижные, сильно начинают шевелиться, в надежде на улучшение своего положения, промочит горло и потом падает опять на постель как подстреленный.

А ребенок всё наблюдал да наблюдал.

Он с няней после обеда опять выходил на воздух. Но и няня, несмотря на всю строгость наказов барыни и на свою собственную волю, не могла противиться обаянию сна. Она тоже заражалась этой господствовавшей в Обломовке повальной болезнью.

Сначала она бодро смотрела за ребенком, не пускала далеко от себя, строго ворчала за резвость, потом, чувствуя симптомы приближавшейся заразы, начинала упрашивать не ходить за ворота, не затрогивать козла, не лазить на голубятню или галерею.

Сама она усаживалась где-нибудь в холодке: на крыльце, на пороге погреба или просто на травке, по-видимому, с тем, чтоб вязать чулок и смотреть за ребенком. Но вскоре она лениво унимала его, кивая головой.

«Влезет, ах, того и гляди влезет эта юла на галерею, — думала она почти сквозь сон, — или еще... как бы в овраг...»

Тут голова старухи клонилась к коленям, чулок выпадал из рук; она теряла из виду ребенка и, открыв немного рот, выпускала легкое храпенье.

А он с нетерпением дожидался этого мгновения, с которым начиналась его самостоятельная жизнь.

Он был как будто один в целом мире; он на цыпочках убегал от няни, осматривал всех, кто где спит; остановится и смотрит пристально, как кто очнется, плюнет или промычит что-то во сне; потом с замирающим сердцем взбегал на галерею, обегал по скрипучим доскам кругом, лазил на голубятню, забирался в глушь сада, слушал, как жужжит жук, и далеко следил глазами его полет в воздухе; прислушивался, как кто-то всё стрекочет в траве, искал и ловил нарушителей этой тишины; поймает стрекозу, оторвет ей крылья и смотрит, что из нее будет, или проткнет сквозь нее соломинку и следит, как она летает с этим прибавлением; с наслаждением, боясь дохнуть, наблюдает за пауком, как он сосет кровь пойманной мухи, как бедная жертва бьется и жужжит у него в лапах. Ребенок кончит тем, что убьет и жертву, и мучителя.

Потом он заберется в канаву, роется, отыскивает какие-то корешки, очищает от коры и ест всласть, предпочитая яблокам и варенью, которые дает маменька.

Он выбежит и за ворота: ему бы хотелось в березняк; он так близко кажется ему, что вот он в пять минут добрался бы до него, не кругом, по дороге, а прямо, через канаву, плетни и ямы; но он боится: там, говорят, и лешие, и разбойники, и страшные звери.

Хочется ему и в овраг сбегать: он всего сажень в пятидесяти от сада; ребенок уж прибежал к краю, зажмурил глаза, хотел заглянуть, как в кратер вулкана... но вдруг перед ним восстали все толки и предания об этом овраге: его объял ужас, и он, ни жив ни мертв, мчится назад и, дрожа от страха, бросился к няньке и разбудил старуху.

Она вспрыгнула от сна, поправила платок на голове, подобрала под него пальцем клочки седых волос и, притворяясь, что будто не спала совсем, подозрительно поглядывает на Илюшу, потом на барские окна и начинает дрожащими пальцами тыкать одну в другую спицы чулка, лежавшего у нее на коленях.

Между тем жара начала понемногу спадать; в природе стало всё поживее; солнце уже подвинулось к лесу.

И в доме мало-помалу нарушалась тишина: в одном углу где-то скрипнула дверь; слышались по двору чьи-то шаги; на сеновале кто-то чихнул.

Вскоре из кухни торопливо пронес человек, нагибаясь от тяжести, огромный самовар. Начали собираться к чаю: у кого лицо измято и глаза заплавлены слезами; тот налегал себе красное пятно на щеке и висках; третий говорит со сна не своим голосом. Всё это сопит, охает, зевает, почесывает голову и разминается, едва приходя в себя.

Обед и сон рождали неутолимую жажду. Жажда палит горло; выпивается чашек по двенадцати чаю, но это не помогает: слышится оханье, стенанье; прибегают к брусничной, к грушевой воде, к квасу, а иные и к врачебному пособию, чтоб только залить засуху в горле.

Все искали освобождения от жажды, как от какого-нибудь наказания Господня; все мечутся, все томятся, точно караван путешественников в аравийской степи, не находящий нигде ключа воды. Ребенок тут, подле маменьки: он вглядывается в странные окружающие его лица, вслушивается в их сонный и вялый разговор. Весело ему смотреть на них, любопытен кажется ему всякий сказанный ими вздор.

После чая все займутся чем-нибудь: кто пойдет к речке и тихо бродит по берегу, толкая ногой камешки в воду; другой сядет к окну и ловит глазами каждое мимолетное явление: пробежит ли кошка по двору, пролетит ли галка, наблюдатель и ту, и другую преследует взглядом и кончиком своего носа, поворачивая голову то направо, то налево. Так иногда собаки любят сидеть по целым дням на окне, подставляя голову под солнышко и тщательно оглядывая всякого прохожего.

Мать возьмет голову Илюши, положит к себе на колени и медленно расчесывает ему волосы, любуясь мягкостью их и заставляя любоваться и Настасью Ивановну, и Степаниду Тихоновну, и разговаривает с ними о будущности Илюши, ставит его героем какой-нибудь созданной ею блистательной эпопеи. Те сулят ему золотые горы.

Но вот начинает смеркаться. На кухне опять трещит огонь, опять раздается дробный стук ножей: готовится ужин.

Дворня собралась у ворот: там слышится балалайка, хохот. Люди играют в горелки. А солнце уж опускалось за лес; оно бросало несколько чуть-чуть теплых лучей, которые прорезывались огненной полосой через весь лес, ярко обливая золотом верхушки сосен. Потом лучи гасли один за другим; последний луч оставался долго; он, как тонкая игла, вонзился в чашу ветвей; но и тот потух.

Предметы теряли свою форму; всё сливалось сначала в серую, потом в темную массу. Пение птиц постепенно ослабевало; вскоре они совсем замолкли, кроме одной какой-то упрямой, которая, будто наперекор всем, среди общей тишины одна монотонно чирикала с промежутками, но всё реже и реже, и та наконец свистнула слабо, незвучно, в последний раз, встрепенулась, слегка пошевелив листья вокруг себя... и заснула.

Всё смолкло. Одни кузнечики взапуски трещали сильнее. Из земли поднялись белые пары и разостлались по лугу и по реке. Река тоже присмирела; немного погода и в ней вдруг кто-то плеснул еще в последний раз, и она стала неподвижна.

Запахло сыростью. Становилось всё темнее и темнее. Деревья сгруппировались в каких-то чудовищ; в лесу стало страшно: там кто-то вдруг заскрипит, точно одно из чудовищ переходит с своего места на другое, и сухой сучок, кажется, хрустит под его ногой. На небе ярко сверкнула, как живой глаз, первая звездочка, и в окнах дома замелькали огоньки.

Настали минуты всеобщей, торжественной тишины природы, те минуты, когда сильнее работает творческий ум, жарче кипят поэтические думы, когда в сердце живет вспыхивает страсть или больнее ноет тоска, когда в жестокой душе невозмутимее и сильнее зреет зерно преступной мысли и когда... в Обломовке все почивают так крепко и покойно.

— Пойдем, мама, гулять, — говорит Илюша.

— Что ты, Бог с тобой! Теперь гулять, — отвечает она, — сыро, ножки простудишь; и страшно: в лесу теперь леший ходит, он уносит маленьких детей.

— Куда он уносит? Какой он бывает? Где живет? — спрашивает ребенок.

И мать давала волю своей необузданной фантазии.

Ребенок слушал ее, открывая и закрывая глаза, пока наконец сон не сморит его совсем. Приходила нянька и, взяв его с коленей матери, уносила сонного, с повисшей через ее плечо головой, в постель.

— Вот день-то и прошел, и слава Богу! — говорили обломовцы, ложась в постель, кряхтя и осеняя себя крестным знамением. — Прожили благополучно; дай Бог и завтра так! Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи!

Потом Обломову приснилась другая пора: он в бесконечный зимний вечер робко жметесь к няне, а она нашептывает ему о какой-то неведомой стороне, где нет ни ночей, ни холода, где всё совершаются чудеса, где текут реки меду и молока, где никто ничего круглый год не делает, а день-деньской только и знают, что гуляют всё добрые молодцы, такие как Илья Ильич, да красавицы, что ни в сказке сказать ни пером описать.

Там есть и добрая волшебница, являющаяся у нас иногда в виде шуки, которая изберет себе какого-нибудь любимца, тихого, безобидного, другими словами, какого-нибудь лентяя, которого все обижают, да и осыпает его, ни с того ни с сего, разным добром, а он знай кушает себе да наряжается в готовое платье, а потом женится на какой-нибудь неслыханной красавице Милитрисе Кирбитьевне.

Ребенок, наострив уши и глаза, страстно впивался в рассказ.

Нянька или предание так искусно избегали в рассказе всего, что существует на самом деле, что воображение и ум, проникшись вымыслом, оставались уже у него в рабстве до старости. Нянька с добродушием повествовала сказку о Емеле-дурачке, эту злую и коварную сатиру на наших прадедов, а может быть, еще и на нас самих.

Взрослый Илья Ильич хотя после и узнает, что нет медовых и молочных рек, нет добрых волшебниц, хотя и шутит он с улыбкой над сказаниями няни, но улыбка эта не искренняя, она сопровождается тайным вздохом: сказка у него смешалась с жизнью, и он бессознательно грустит подчас, зачем сказка не жизнь, а жизнь не сказка. <...>

Сказка не над одними детьми в Обломовке, но и над взрослыми до конца жизни сохраняет свою власть. Все в доме и в деревне, начиная от барина, жены его и до дюжего кузнеца Тараса, — все трепещут чего-то в темный вечер: всякое дерево превращается тогда в великана, всякий куст — в вертеп разбойников.

Стук ставни и завыванье ветра в трубе заставляли бледнеть и мужчин, и женщин, и детей. Никто в Крещение не выйдет после десяти часов вечера один за ворота; всякий в ночь на Пасху побоится идти в конюшню, опасаясь застать там домового.

В Обломовке верили всему: и оборотням, и мертвецам. Расскажут ли им, что копна сена разгуливала по полю, — они не задумаются и поверят; пропустит ли кто-нибудь слух, что вот это не баран, а что-то другое или что такая-то Марфа или Степанида — ведьма, они будут бояться и барана, и Марфы: им и в голову не придет спросить, отчего баран стал не бараном, а Марфа сделалась ведьмой, да еще накинются и на того, кто бы вздумал усомниться в этом, — так сильна вера в чудесное в Обломовке!

Илья Ильич и увидит после, что просто устроен мир, что не встают мертвецы из могил, что великанов, как только они заведутся, тотчас сажают в балаган, а разбойников — в тюрьму; но если пропадает самая вера в призраки, то остается какой-то осадок страха и безотчетной тоски.

Узнал Илья Ильич, что нет бед от чудовищ, а какие есть — едва знает, и на каждом шагу всё ждет чего-то страшного и боится. И теперь еще, оставшись в темной комнате или увидя покойника, он трепещет от зловещей, в детстве зароненной в душу тоски; смеясь над страхами своими поутру, он опять бледнеет вечером.

Далее Илья Ильич вдруг увидел себя мальчиком лет тринадцати или четырнадцати.

Он уж учится в селе Верхлёве, верстах в пяти от Обломовки, у тамошнего управляющего, немца Штольца, который завел небольшой пансион для детей окрестных дворян.

У него был свой сын, Андрей, почти одних лет с Обломовым, да еще отдали ему одного мальчика, который почти

никогда не учился, а больше страдал золотухой, всё детство проходил постоянно с завязанными глазами или ушами да плакал всё втихомолку о том, что живет не у бабушки, а в чужом доме, среди злодеев, что вот его и приласкать-то некому и никто любимого пирожка не испечет ему.

Кроме этих детей, других еще в пансионе пока не было.

Нечего делать, отец и мать посадили баловника Илюшу за книгу. Это стоило слез, воплей, капризов. Наконец отвезли.

Немец был человек дельный и строгий, как почти все немцы. Может быть, у него Илюша и успел бы выучиться чему-нибудь хорошенько, если б Обломовка была верстах в пятистах от Верхлёва. А то как выучиться? Обаяние обломовской атмосферы, образа жизни и привычек простиралось и на Верхлёво; ведь оно тоже было некогда Обломовкой; там, кроме дома Штольца, всё дышало тою же первобытною ленью, простотою нравов, тишиною и неподвижностью.

Ум и сердце ребенка исполнились всех картин, сцен и нравов этого быта прежде, нежели он увидел первую книгу. А кто знает, как рано начинается развитие умственного зерна в детском мозгу? Как уследить за рождением в младенческой душе первых понятий и впечатлений?

Может быть, когда дитя еще едва выговаривало слова, а может быть, еще вовсе не выговаривало, даже не ходило, а только смотрело на всё тем пристальным немим детским взглядом, который взрослые называют тупым, оно уж видело и угадывало значение и связь явлений окружающей его сферы, да только не признавалось в этом ни себе, ни другим.

Может быть, Илюша уж давно замечает и понимает, что говорят и делают при нем: как батюшка его, в плисовых панталонах, в коричневой суконной ваточной куртке, день-деньской только и знает, что ходит из угла в угол, заложив руки назад, нюхает табак и сморкается, а матушка переходит от кофе к чаю, от чая к обеду; что родитель и не вздумает никогда поверить, сколько копен скошено или сжато, и взыскать за упущение, а подай-ко ему нескоро носовой платок, он накричит о беспорядках и поставит вверх дном весь дом.

Может быть, детский ум его давно решил, что так, а не иначе следует жить, как живут около него взрослые. Да и как иначе прикажете решить ему? А как жили взрослые в Обломовке?

Делали ли они себе вопрос: зачем дана жизнь? Бог весть. И как отвечали на него? Вероятно, никак; это казалось им очень просто и ясно.

Не слыхивали они о так называемой многотрудной жизни, о людях, носящих томительные заботы в груди, снующих зачем-то из угла в угол по лицу земли или отдающих жизнь вечному, нескончаемому труду.

Плохо верили обломовцы и душевным тревогам; не принимали за жизнь круговорота вечных стремлений куда-то, к чему-то; боялись, как огня, увлечения страстей; и как в другом месте тело у людей быстро сгорало от вулканической работы внутреннего, душевного огня, так душа обломовцев мирно, без помехи утопала в мягком теле.

Не клеймила их жизнь, как других, ни преждевременными морщинами, ни нравственными разрушительными ударами и недугами.

Добрые люди понимали ее не иначе как идеалом покоя и бездействия, нарушаемого по временам разными неприятными случайностями, как-то: болезнями, убытками, ссорами и, между прочим, трудом.

Они сносили труд как наказание, наложенное еще на праотцев наших, но любить не могли, и где был случай, всегда от него избавлялись, находя это возможным и должным.

Они никогда не смущали себя никакими туманными умственными или нравственными вопросами: оттого всегда и цвели здоровьем и весельем, оттого там жили долго; мужчины в сорок лет походили на юношей; старики не боролись с трудной, мучительной смертью, а, дожив до невозможности, умирали как будто украдкой, тихо застывая и незаметно испуская последний вздох. Оттого и говорят, что прежде был крепче народ.

Да, в самом деле крепче: прежде не торопились объяснять ребенку значения жизни и готовить его к ней, как к чему-то мудреному и нешуточному; не томили его

над книгами, которые рождают в голове тьму вопросов, а вопросы гложут ум и сердце и сокращают жизнь.

Норма жизни была готова и преподана им родителями, а те приняли ее, тоже готовую, от бабушки, а бабушка от прабабушки, с заветом блюсти ее целостность и неприкосновенность, как огонь Весты. Как что делалось при дедах и отцах, так делалось при отце Ильи Ильича, так, может быть, делается еще и теперь в Обломовке. <...>

Снится еще Илье Ильичу большая темная гостиная в родительском доме с ясеневыми старинными креслами, вечно покрытыми чехлами, с огромным, неуклюжим и жестким диваном, обитым полинялым голубым бараканом в пятнах, и одним большим кожаным креслом.

Наступает длинный зимний вечер.

Мать сидит на диване, поджав ноги под себя, и лениво вяжет детский чулок, зевая и почесывая по временам спицей голову.

Подле нее сидят Настасья Ивановна да Пелагея Игнатьевна и, уткнув носы в работу, прилежно шьют что-нибудь к празднику для Илюши, или для отца его, или для самих себя.

Отец, заложив руки назад, ходит по комнате взад и вперед, в совершенном удовольствии, или присядет в кресло и, посидев немного, начнет опять ходить, внимательно прислушиваясь к звуку собственных шагов. Потом понюхает табак, высморкается и опять понюхает.

В комнате тускло горит одна сальная свечка, и то это допускалось только в зимние и осенние вечера. В летние месяцы все старались ложиться и вставать без свечей, при дневном свете.

Это частью делалось по привычке, частью из экономии. На всякий предмет, который производился не дома, а приобретался покупкою, обломовцы были до крайности скупы.

Они с радушием заколют отличную индейку или дюжину цыплят к приезду гостя, но лишней изюминки в кушанье не положат и побледнеют, как тот же гость самовольно вздумает сам налить себе в рюмку вина.

Впрочем, такого разврата там почти не случалось: это сделает разве сорванец какой-нибудь, погибший в общем

мнении человек; такого гостя и на двор не пустят. Нет, не такие нравы были там: гость там прежде троекратного потчеванья и не дотронется ни до чего. Он очень хорошо знает, что однократное потчеванье чаще заключает в себе просьбу отказаться от предлагаемого блюда или вина, нежели ответить его.

Не для всякого зажгут и две свечи: свечка покупалась в городе на деньги и береглась, как все покупные вещи, под ключом самой хозяйки. Огарки бережно считались и прятались.

Вообще там денег тратить не любили, и, как ни необходима была вещь, но деньги за нее выдавались всегда с великим соболезованием, и то если издержка была незначительна. Значительная же трата сопровождалась стонами, воплями и бранью.

Обломовцы соглашались лучше терпеть всякого рода неудобства, даже привыкали не считать их неудобствами, чем тратить деньги.

От этого и диван в гостиной давным-давно весь в пятнах, от этого и кожаное кресло Ильи Ивановича только называется кожаным, а в самом-то деле оно — не то мочальное, не то веревочное: кожи-то осталось только на спинке один клочок, а остальная уж пять лет как развалилась в куски и слезла; оттого же, может быть, и ворота всё кривы, и крыльцо шатается. Но заплатить за что-нибудь, хоть самонужнейшее, вдруг двести, триста, пятьсот рублей казалось им чуть не самоубийством.

Услыхав, что один из окрестных молодых помещиков ездил в Москву и заплатил там за дюжину рубашек триста рублей, двадцать пять рублей за сапоги и сорок рублей за жилет к свадьбе, старик Обломов перекрестился и сказал с выражением ужаса, скороговоркой, что «этакого молодца надо посадить в острог».

Вообще они глухи были к политико-экономическим истинам о необходимости быстрого и живого обращения капиталов, об усиленной производительности и мене продуктов. Они в простоте души понимали и приводили в исполнение единственное употребление капиталов — держать их в сундуке. На креслах в гостиной, в разных по-

ложениях, сидят и сопят обитатели или обычные посетители дома.

Между собеседниками по большей части царствует глубокое молчание: все видятся ежедневно друг с другом; умственные сокровища взаимно исчерпаны и изведаны, а новостей извне получается мало.

Тихо; только раздаются шаги тяжелых, домашней работы сапог Ильи Ивановича, еще стенные часы в футляре глухо постукивают маятником, да порванная время от времени рукой или зубами нитка у Пелагеи Игнатьевны или у Настасьи Ивановны нарушает глубокую тишину. <...>

Они вели счет времени по праздникам, по временам года, по разным семейным и домашним случаям, не ссылаясь никогда ни на месяцы, ни на числа. Может быть, это происходило частью и оттого, что, кроме самого Обломова, прочие всё путали и названия месяцев, и порядок чисел. <...>

Ничто не нарушало однообразия этой жизни, и сами обломовцы не тяготились ею, потому что и не представляли себе другого житья-бытья; а если б и смогли представить, то с ужасом отвернулись бы от него.

Другой жизни и не хотели, и не любили бы они. Им бы жаль было, если б обстоятельства внесли перемены в их быт, какие бы то ни были. Их загрызет тоска, если завтра не будет похоже на сегодня, а послезавтра на завтра.

Зачем им разнообразие, перемены, случайности, на которые напрашиваются другие? Пусть же другие и расхлебывают эту чашу, а им, обломовцам, ни до чего и дела нет. Пусть другие и живут, как хотят.

Ведь случайности, хоть бы и выгоды какие-нибудь, беспокойны: они требуют хлопот, забот, беготни, не посиди на месте, торгуй или пиши — словом, поворачивайся, шутка ли!

Они продолжали целые десятки лет сопеть, дремать и зевать или заливаться добродушным смехом от деревенского юмора, или, собираясь в кружок, рассказывали, что кто видел ночью во сне.

Если сон был страшный — все задумывались, боялись не шутя; если пророческий — все непритворно радовались

или печалились, смотря по тому, горестное или утешительное снилось во сне. Требовал ли сон соблюдения какой-нибудь приметы, тотчас для этого принимались деятельные меры. <...>

Однажды только однообразие их быта нарушилось уж подлинно нечаянным случаем. Когда, отдохнув после трудного обеда, все собрались к чаю, вдруг пришел воротившийся из города обломовский мужик, и уж он доставал, доставал из-за пазухи, наконец насилу достал скомканное письмо на имя Ильи Иваныча Обломова.

Все обомлели; хозяйка даже изменилась немного в лице; глаза у всех устремились и носы вытянулись по направлению к письму.

— Что за диковина! От кого это? — произнесла наконец барыня, опомнившись.

Обломов взял письмо и с недоумением ворочал его в руках, не зная, что с ним делать.

— Да ты где взял? — спросил он мужика. — Кто тебе дал?

— А на дворе, где я приставал в городе-то, слышь ты, — отвечал мужик, — с почты приходили два раза спрашивать, нет ли обломовских мужиков: письмо, слышь, к барину есть.

— Ну?..

— Ну, я перва-наперво притаился: солдат и ушел с письмом-то. Да верхлёвский дьячок видал меня, он и сказал. Пришли вдругорядь. Как пришли вдругорядь-то, ругаться стали и отдали письмо, еще пятак взяли. Я спросил, что, мол, делать мне с ним, куда его деть? Так вот велели вашей милости отдать.

— А ты бы не брал, — сердито заметила барыня.

— Я и то не брал. На что, мол, нам письмо-то, — нам не надо. Нам, мол, не наказывали писем брать — я не смею: подите вы, с письмом-то! Да пошел больно ругаться солдат-то: хотел начальству жаловаться; я и взял.

— Дурак! — сказала барыня.

— От кого ж бы это? — задумчиво говорил Обломов, рассматривая адрес. — Рука как будто знакомая, право!

И письмо пошло ходить из рук в руки. Начались толки и догадки: от кого и о чем оно могло быть? Все наконец

стали в тупик. Илья Иванович велел сыскать очки: их отыскивали часа полтора. Он надел их и уже подумывал было вскрыть письмо.

— Полно, не распечатывай, Илья Иваныч, — с боязнью остановила его жена, — кто его знает, какое оно там, письмо-то? может быть, еще страшное, беда какая-нибудь. Вишь ведь народ-то нынче какой стал! Завтра или послезавтра успеешь — не уйдет оно от тебя.

И письмо с очками было спрятано под замок. Все занялись чаем. Оно бы пролежало там годы, если б не было слишком необыкновенным явлением и не взволновало умы обломовцев. За чаем и на другой день у всех только и разговора было, что о письме.

Наконец не вытерпели, и на четвертый день, собравшись толпой, с смущением распечатали. Обломов взглянул на подпись.

— «Радищев», — прочитал он. — Э! Да это от Филиппа Матвейча!

— А! Э! Вот от кого! — поднялось со всех сторон. — Да как это он еще жив по сю пору? Поди ты, еще не умер! Ну, слава Богу! Что он пишет?

Обломов стал читать вслух. Оказалось, что Филипп Матвеевич просит прислать ему рецепт пива, которое особенно хорошо варили в Обломовке.

— Послать, послать ему! — заговорили все. — Надо написать письмецо.

Так прошло недели две.

— Надо, надо написать! — твердил Илья Иванович жене. — Где рецепт-то?

— А где он? — отвечала жена. — Еще надо сыскать. Да погоди, что торопиться? Вот, Бог даст, дождемся праздника, разговеемся, тогда и напишешь; еще не уйдет...

— В самом деле, о празднике лучше напишу, — сказал Илья Иванович.

На празднике опять зашла речь о письме. Илья Иванович собрался совсем писать. Он удалился в кабинет, надел очки и сел к столу.

В доме воцарилась глубокая тишина; людям не велено было топтать и шуметь. «Барин пишет!» — говорили все та-

ким робко-почтительным голосом, каким говорят, когда в доме есть покойник.

Он только было вывел: «Милостивый государь», медленно, криво, дрожащей рукой и с такою осторожностью, как будто делал какое-нибудь опасное дело, как к нему явилась жена.

— Искала, искала — нету рецепта, — сказала она. — Надо еще в спальне в шкапу поискать. Да как посылать письмо-то?

— С почтой надо, — отвечал Илья Иванович.

— А что туда стоит?

Обломов достал старый календарь.

— Сорок копеек, — сказал он.

— Вот, сорок копеек на пустяки бросать! — заметила она. — Лучше подождем, не будет ли из города оказии туда. Ты вели узнавать мужикам.

— И в самом деле по оказии-то лучше, — отвечал Илья Иванович и, пощелкав перо об стол, всунул в чернильницу и снял очки.

— Право, лучше, — заключил он, — еще не уйдет: успеем послать.

Неизвестно, дождался ли Филипп Матвеевич рецепта. <...>

И все в доме были проникнуты убеждением, что ученье и родительская суббота никак не должны совпадать вместе или что праздник в четверг — неодолимая преграда к ученью во всю неделю.

Разве только иногда слуга или девка, которым достанется за барчонка, проворчат:

— У, баловень! Скоро ли провалишься к своему немцу?

В другой раз вдруг к немцу Антипка явится на знакомой пегашке, среди или в начале недели, за Ильей Ильичом.

— Приехала, дескать, Марья Савишна или Наталья Фаддеевна гостить или Кузовковы со своими детьми, так пожалуйте домой!

И недели три Илюша гостит дома, а там, смотришь, до Страстной недели уж недалеко, а там и праздник, а там кто-нибудь в семействе почему-то решит, что на Фоминой неделе

не учатся; до лета остается недели две — не стоит ездить, а летом и сам немец отдыхает, так уж лучше до осени отложить. Посмотришь, Илья Ильич и отгуляется в полгода, и как вырастет он в это время! Как потолстеет! Как спит славно! Не налюбуются на него в доме, замечая, напротив, что, возвратясь в субботу от немца, ребенок худ и бледен.

— Долго ли до греха? — говорили отец и мать. — Ученье-то не уйдет, а здоровья не купишь; здоровье дороже всего в жизни. Вишь, он из ученья как из больницы воротится: жирок весь пропадает, жиденький такой... да и шалун: всё бы ему бегать!

— Да, — заметит отец, — ученье-то не свой брат: хоть кого в бараний рог свернет!

И нежные родители продолжали приискивать предлоги удерживать сына дома. За предложениями, и кроме праздников, дело не ставало. Зимой казалось им холодно, летом по жару тоже не годится ехать, а иногда и дождь пойдет, осенью слякоть мешает. Иногда Антипка что-то сомнителен покажется: пьян не пьян, а как-то дико смотрит: беды бы не было, завязнет или оборвется где-нибудь.

Обломовцы старались, впрочем, придать как можно более законности этим предложениям в своих собственных глазах и особенно в глазах Штольца, который не щадил и в глаза, и за глаза доннерветтеров за такое баловство.

Времена Простаковых и Скотининых миновались давно. Пословица: ученье свет, а неученье тьма — бродила уже по селам и деревням вместе с книгами, развозимыми букинистами.

Старики понимали выгоду просвещения, но только внешнюю его выгоду. Они видели, что уж все начали выходить в люди, то есть приобретать чины, кресты и деньги не иначе как только путем ученья; что старым подьячим, заторелым на службе дельцам, состаревшимся в давнишних привычках, кавычках и крючках, приходилось плохо.

Стали носиться зловещие слухи о необходимости не только знания грамоты, но и других, до тех пор неслыханных в том быту наук. Между титулярным советником и коллежским ассессором разверзалась бездна, мостом через которую

служил какой-то диплом. Старые служаки, чада привычки и питомцы взяток, стали исчезать. Многих, которые не успели умереть, выгнали за неблагонадежность, других отдали под суд; самые счастливые были те, которые, махнув рукой на новый порядок вещей, убрались подобру да поздорову в благоприобретенные углы.

Обломовы смекали это и понимали выгоду образования, но только эту очевидную выгоду. О внутренней потребности ученья они имели еще смутное и отдаленное понятие, и оттого им хотелось уловить для своего Илюши пока некоторые блестящие преимущества.

Они мечтали и о шитом мундире для него, воображали его советником в палате, а мать даже и губернатором; но всего этого хотелось бы им достигнуть как-нибудь подешевле, с разными хитростями, обойти тайком разбросанные по пути просвещения и честей камни и преграды, не трудясь перескакивать через них, то есть, например, учиться слегка, не до изнурения души и тела, не до утраты благословенной, в детстве приобретенной полноты, а так, чтоб только соблюсти предписанную форму и добыть как-нибудь аттестат, в котором бы сказано было, что Илюша прошел все науки и искусства. Вся эта обломовская система воспитания встретила сильную оппозицию в системе Штольца. Борьба была с обеих сторон упорная. Штолец прямо, открыто и настойчиво поражал соперников, а они уклонялись от ударов вышесказанными и другими хитростями.

Победа не решалась никак; может быть, немецкая настойчивость и преодолела бы упрямство и закоснелость обломовцев, но немец встретил затруднения на своей собственной стороне, и победе не суждено было решиться ни на ту, ни на другую сторону. Дело в том, что сын Штольца баловал Обломова, то подсказывая ему уроки, то делая за него переводы. Илье Ильичу ясно видится и домашний быт его, и жизнь у Штольца. Он только что проснется у себя дома, как у постели его уже стоит Захарка, впоследствии знаменитый камердинер его Захар Трофимыч.

Захар, как, бывало, нянька, натягивает ему чулки, надевает башмаки, а Илюша, уже четырнадцатилетний мальчик,

только и знает, что подставляет ему лежа то ту, то другую ногу; а чуть что покажется ему не так, то он поддаст Захарке ногой в нос. Если недовольный Захарка вздумает пожаловаться, то получит еще от старших колотушку.

Потом Захарка чешет голову, натягивает куртку, осторожно продевая руки Ильи Ильича в рукава, чтоб не слишком беспокоить его, и напоминает Илье Ильичу, что надо сделать то, другое: вставши поутру, умыться и т.п.

Захочет ли чего-нибудь Илья Ильич, ему стоит только мигнуть — уж трое-четверо слуг кидаются исполнять его желание; уронит ли он что-нибудь, достать ли ему нужно вещь, да не достанет, принести ли что, сбегать ли за чем: ему иногда, как резвому мальчику, так и хочется броситься и переделать всё самому, а тут вдруг отец и мать да три тетки в пять голосов и закричат:

— Зачем? Куда? А Васька, а Ванька, а Захарка на что? Эй! Васька! Ванька! Захарка! Чего вы смотрите, разини? Вот я вас!..

И не удастся никак Илье Ильичу сделать что-нибудь самому для себя.

После он нашел, что оно и покойнее гораздо, и сам выучился покрикивать: «Эй, Васька! Ванька! подай то, дай другое! Не хочу того, хочу этого! Сбегай, принеси!»

Подчас нежная заботливость родителей и надоедала ему.

Побежит ли он с лестницы или по двору, вдруг вслед ему раздастся в десять отчаянных голосов: «Ах, ах! Поддержите, остановите! Упадёт, расшибется... стой, стой!»

Задумает ли он выскочить зимой в сени или отворить форточку — опять крики: «Ай, куда? Как можно? Не бегай, не ходи, не отворяй: убьешься, простудишься...»

И Илюша с печалью оставался дома, лелеемый, как экзотический цветок в теплице, и, так же как последний под стеклом, он рос медленно и вяло. Ищущие проявления силы обращались внутрь и никли, увядая.

А иногда он проснется такой бодрый, свежий, веселый; он чувствует: в нем играет что-то, кипит, точно поселился бесенок какой-нибудь, который так и поддразнивает его то влезть на крышу, то сесть на савраску да поскакать

в луга, где сено косят, или посидеть на заборе верхом, или подразнить деревенских собак; или вдруг захочется пуститься бегом по деревне, потом в поле, по буеракам, в березняк да в три скачка броситься на дно оврага, или увязаться за мальчишками играть в снежки, попробовать свои силы.

Бесенок так и подмывает его: он крепится, крепится, наконец не вытерпит, и вдруг, без картуза, зимой, прыг с крыльца на двор, оттуда за ворота, захватил в обе руки по кому снега и мчится к куче мальчишек.

Свежий ветер так и режет ему лицо, за уши щиплет мороз, в рот и горло пахнуло холодом, а грудь охватило радостью — он мчится, откуда ноги взялись, сам и визжит, и хохочет. Вот и мальчишки: он бац снегом — мимо: сноровки нет; только хотел захватить еще снежку, как всё лицо залепила ему целая глыба снегу: он упал; и больно ему с непривычки, и весело, и хохочет он, и слезы у него на глазах...

А в доме гвалт: Илюши нет! Крик, шум. На двор выскочил Захарка, за ним Васька, Митька, Ванька — все бегут, растерянные, по двору.

За ними кинулись, хватая их за пятки, две собаки, которые, как известно, не могут равнодушно видеть бегущего человека. Люди с криками, с воплями, собаки с лаем мчатся по деревне.

Наконец набежали на мальчишек и начали чинить правосудие: кого за волосы, кого за уши, иному подзатыльника; пригрозили и отцам их. Потом уже овладели барçonком, окутали его в захваченный тулуп, потом в отцовскую шубу, потом в два одеяла и торжественно принесли на руках домой.

Дома отчаялись уже видеть его, считая погибшим; но при виде его, живого и невредимого, радость родителей была неописанна. Возблагодарили Господа Бога, потом напоили его мятой, там бузиной, к вечеру еще малиной и продержали дня три в постели, а ему бы одно могло быть полезно: опять играть в снежки...



Роман «Обломов» в оценке критики

Критик Н.А. Добролюбов: «...некоторым кажется роман Гончарова растянутым. Он, если хотите, действительно растянут. <...> Никаких внешних событий, никаких препятствий <...>, никаких посторонних обстоятельств не вмешивается в роман. Лень и апатия Обломова — единственная пружина действия во всей его истории...».

«...Вы совершенно переноситесь в тот мир, в который ведет вас автор: вы находите в нем что-то родное, перед вами открывается не только внешняя форма, но и самая внутренность, душа каждого лица, каждого предмета. И после прочтения всего романа вы чувствуете, <...> что к вам в душу глубоко запали новые образы, новые типы...». «Сон Обломова» и некоторые отдельные сцены мы прочли по нескольку раз; весь роман почти сплошь прочитали мы два раза, и во второй раз он нам понравился едва ли не более, чем в первый.

Такое обаятельное значение имеют эти подробности, которыми автор обставляет ход действия и которые, по мнению некоторых, растягивают роман...». «...Обломов есть лицо не совсем новое в нашей литературе; но прежде оно не выставлялось перед нами так просто и естественно, как в романе Гончарова. Чтобы не заходить слишком далеко в старину, скажем, что родовые черты обломовского типа мы находим еще в Онегине и затем несколько раз встречаем их повторение в лучших наших литературных произведениях...» (Н.А. Добролюбов, статья «Что такое обломовщина?», 1859 г.)

Знаменитые писатели о романе «Обломов»

Л.Н. Толстой: «... «Обломов» — капитальнейшая вещь, какой давно, давно не было. Скажите Гончарову, что я в восторге от «Обломова» и перечитываю его еще раз. Но что приятнее ему будет — это, что «Обломов» имеет успех не

случайный, не с треском, а здоровый, капитальный и не временный в настоящей публике...» (*письмо Л.Н. Толстого к А.В. Дружинину, 16 апреля 1859 г.*)

Ф.М. Достоевский: «...Обломов. Русский человек много и часто грешит против любви; но и первый страдалец за это от себя. Он палач себе за это. Это самое характеристичное свойство русского человека. Обломову же было бы только мягко. Это только лентяй, да еще вдобавок эгоист. Это даже и не русский человек. Это продукт петербургский. Он также и барич, но и барич-то уже не русский, а петербургский...» (*Ф.М. Достоевский, записная книжка 1864–1865 г.*)

Вопросы и задания:

1. В чем выражается апология Обломовки в романе И. Гончарова?
2. Обломовская модель дома, семьи, любви. Опираясь на текст романа, охарактеризуйте её.
3. Что дало Добролюбову основание причислить Обломова к «лишним людям» и что общего между ними?
4. Какое место занимает «Фрегат Паллада» в творчестве писателя?
5. Чем близки нам раздумья и тревоги Гончарова-писателя?
6. Знакомы ли вы с современными трактовками образа Обломова в литературной критике и художественных произведениях?





**АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ОСТРОВСКИЙ
(1823 – 1886)**



Александр Николаевич Островский родился в одном из переулков Замоскворечья. Отец его был чиновником московского департамента Сената, затем присяжным стряпчим Московского коммерческого суда.

По настоянию отца, надеявшегося на дальнейшую адвокатскую карьеру сына, Островский после гимназии поступает на юридическое отделение Московского университета, но чем ближе он знакомится с законодательством и судопроизводством, тем меньше ему нравится его будущая деятельность.

Островского неодолимо влечёт к себе искусство, он много читает и спорит о литературе со своими товарищами по университету, сам пробует писать стихи и рассказы. Окончательно разочаровавшись в судебной деятельности, Островский мечтает стать писателем, чтобы в «живой, изящной форме» произносить свой «суд над жизнью». Крепнущее убеждение в своём призвании побуждает его в том же году оставить университет.

Работа в московских судах, соприкосновение с «низкими» сторонами жизни, раскрывают перед молодым судейским чиновником мир наживы и обмана, произвола и унижения.

Это была настоящая школа познания всех сторон купеческой жизни. Перед будущим драматургом раскрывался целый мир драматических конфликтов, звучало всё разноголосое богатство живого великорусского языка.

Ещё с гимназических лет Островский становится завзятым театралом, восхищается игрой Щепкина и Мочалова. В конце 40-х годов он пробует свои силы на писательском, драматургическом поприще и публикует в «Московском городском листке» за 1847 год «Сцены из комедии «Несостоятельный должник», «Картину семейного счастья» и очерк «Записки замоскворецкого жителя». Раннее творчество Островского проходит «под знаком» Гоголя. В Гоголе он усваивает не только «формулы», определяющие облик «маленького человека», но и эпичность взгляда на Россию, в которой невозможно «не родиться беспредельной мысли», «не быть богатырью» или «чудной русской девице, какой не сыскать нигде в мире...». Такую Россию угадывал Островский во время поездок в Нижний Новгород и в приобретённое отцом в Костромской губернии имение Щелыково.

Появление в 1850 году первой комедии «Банкрот» (впоследствии «Свои люди – сочтёмся») принесло Островскому славу. Автора назвали «Колумбом Замоскворечья», а его комедию купеческими «Мёртвыми душами». Звание «Колумба Замоскворечья», закрепившееся за Островским на всю жизнь, имело основанием рано возникший интерес к родным местам – «к стране, никому до сего времени в подробности не известной и никем ещё из путешественников не описанной».

Грандиозный успех сатирико-бытовой комедии «Банкрот» был обусловлен, прежде всего, особым даром Островского: не участвуя напрямую в пьесе, определять в ней всё, достигая потрясающего впечатления скрещением трагического и комического, сложным единством вечных и самых злободневных проблем.

В пьесе «Банкрот» отец Липочки, Самсон Силыч Большов, не желая возвращать долги, прикинулся несостоятельным должником, банкротом. Всё своё состояние он перевёл на имя старшего приказчика Подхалюзина. Пронырливый приказчик становится мужем Липочки и присваивает имущество своего тестя. Большова сажают в «яму» (долговую тюрьму). Его можно спасти, уплатив кредиторам хотя бы небольшую часть долга. Но зять и дочь отказывают старику в помощи. Чем объяснить эту жестокость? Ответ очень

прост — жестокость порождает жестокость. Самсон Силыч Большов был деспотом, типичным самодуром, не «знавшим никакого удержу». Вся семья трепетала перед ним. Неудивительно, что в семье, где отношения основаны на страхе и унижении, нет ни взаимной любви, ни уважения к человеку.

Комедия показывает, как вырастают самодуры. Сам Большов, в молодости мелкий торговец, натерпелся от самодуров, научился лебезить и кланяться перед богатыми и сильными, которые не жалели для него подзатыльников. Разбогатев, он стал давать подзатыльники сам. Такой же путь проделал и Подхалюзин. При помолвке он уговаривается с Липочкой: старики «почудили на своём веку, теперь нам пора».

Островский, как и все его великие предшественники — мастер речевой характеристики. Он наделяет своих персонажей речью, которая удивительно ясно раскрывает их психологию, взгляды на жизнь, идеалы. Несколько реплик — и перед нами вырисовываются характеры действующих лиц.

Вот один из примеров. Гостиная в доме купца Большова. Дочка его Олимпиада Самсоновна — Липочка — беседует со свахой Устиньей Наумовной о женихах.

Послушаем их беседу.

Устинья Наумовна: Пожалуй, уж коли тебе такой апекит, найдём тебе и благородного. Какого тебе: посолидней али поподжаристей?

Липочка: Ничего и потолще, был бы собою не мал. Конечно, лучше уж рослого, чем какого-нибудь мухоротика. И пуще всего, Устинья Наумовна, чтобы не курносого, непременно чтобы был брюнет; ну, понятное дело, чтобы и одет был по-журнальному...

Устинья Наумовна: А у меня есть теперь жених, вот точно такой, как ты, бралиянтовая, расписываешь: и благородный, и рослый, и брюле».

В 1859 году, после выхода первого двухтомного собрания сочинений Островского, на страницах журнала «Современник» была напечатана статья Н.А. Добролюбова «Тёмное царство», в которой впервые было раскрыто новаторство писателя-драматурга.

Критик называет произведения Островского «песами жизни», по словам Добролюбова автор «обладает глубоким пониманием русской жизни и великим умением изображать резко и живо самые существенные её стороны». Критик говорит, что Островского всегда ведёт «чувство художественной правды».

Действительность, изображённую драматургом, он характеризует как «мир затаённой, тихо вздыхающей скорби, мир тупой, ноющей боли, мир тюремного, гробового безмолвия, лишь изредка оживляемый глухим, бессильным ропотом, робко замирающим при самом зарождении». Пользуясь достаточно ясными для читателей иносказаниями, Добролюбов рассматривает пьесы Островского как обличение общественного строя, где царят деспотизм, произвол, социальный гнёт.

«Кто сумеет бросить луч света в безобразный мрак «тёмного царства?» — спрашивал Добролюбов. На этот вопрос ответил Островский новой пьесой: в 1860 году выходит в свет его драма «Гроза», которую Добролюбов назвал самым решительным произведением Островского.

В «Грозе» отразились впечатления от путешествия по Волге, которое предпринял Островский летом 1856 года в составе экспедиции, изучавшей быт жителей Поволжья. Но в «Грозе» изображены не какие-то конкретные лица или события. Нравы и быт жителей Торжка, Кинешмы, Костромы, прежние наблюдения над жизнью Замоскворечья — всё это было переработано в творческой лаборатории писателя и превратилось в глубоко типичные картины русской жизни.

Действие драмы «Гроза» происходит в провинциальном городке на Волге, и в то же время оно выплёскивается на всероссийский простор, приобретает общенациональный масштаб.

В начале пьесы в устах Кулигина звучит песня «Среди долины ровныя», являясь как бы эпиграфом «Грозы». Это песня о трагичности добра и красоты, в песне как бы предвосхищается судьба героини с её душевной неприкаянностью, с её напрасными стремлениями и надеждой найти опору и поддержку в окружающем мире. За судьбой Катерины — судьба героини песни, непокорной молодой снохи, от-

данной за немилую «чуж-чуженина» в «чужедальную сторонушку», что «не сахаром посыпана, не мёдом полита». Песенная основа чувствуется и в эстетически приподнятой речи Катерины и других персонажей «Грозы».

В «Грозе» жизнь показана через призму остроконфликтной ситуации, чувства и страсти достигают максимального накала. Люди «Грозы» живут в особом состоянии мира — кризисном, катастрофическом. Уже первое действие вводит нас в предгрозовую атмосферу жизни, и этому вторит природа, которая медленно надвигается на город Калинов грозой.

Кабаниха — яркий ревнитель худших сторон старой морали, однако она страшна не верностью старине, а самодурством «под видом благочестия».

И если самодурство Кабанихи укреплено правилами «Домостроя» с наиболее жестокими формулами, оправдывающими деспотизм, то своеволие Дикого ни на чём не укреплено и ничем не оправдано, это «воин» сам по себе, жертва собственного своеволия и распущенности. Он самый богатый человек в городе, что даёт ему право куражиться над бедными, ничем не защищёнными людьми: «Так ты знай, что ты червяк. Захочу — помилую, захочу — раздавлю», «Закон, что дышло: куда повернул, туда и вышло». Но вместе с тем, Савел Прокофьевич Дикой слаб духовно, он может спасовать перед тем, кто сильнее его в законе, или перед личностью, сокрушающей его авторитет. Его невозможно «просветить», но можно «прекратить», что легко удаётся Марфе Игнатьевне Кабановой: «А и честь-то не велика, потому что воюешь-то ты всю жизнь с бабами. Вот что».

Муж Катерины, Тихон, является безвольным, опутанным страхом перед маменькой человеком, который не разделяет её деспотических притязаний и не верит её лицемерию и ханжеству. В глубине души Тихон — добрый и великодушный человек, любящий Катерину, способный простить ей даже измену. Но человечность Тихона слишком робка и бездейственна. Только нравственное потрясение от смерти Катерины возрождает в Тихоне так и оставшиеся не проявленными человеческие возможности. Поднимая голос в её защиту: «Маменька, вы её погубили! вы, вы, вы...», он, в

сущности, защищает и себя, и всех, кого убило — нравственно или физически — «тёмное царство».

Варвара — прямая противоположность Тихону. В ней есть и воля, и смелость, но она порождение Кабанихи, с присущей той бездуховностью. Почти лишённая чувства ответственности за свои поступки, Варвара не способна понять нравственные терзания Катерины: «А по-моему: делай, что хочешь, только бы шито да крыто было», — вот её нехитрый жизненный кодекс, оправдывающий любой обман. Гораздо выше и нравственно пронизательнее Варвары Ваня Кудряш. В нём торжествует народное начало. Это песенная, одарённая натура, разудалая и бесшабашная внешне, но добрая и чуткая внутри. Миру «отцов» Кудряш противостоит своей удалью, озорством, но не нравственной силой.

Среди жертв «тёмного царства» — возлюбленный Катерины, Борис. Это именно с ним, а не с Тихоном связывает Катерина мечты о воле. Однако Борис еще более слаб, жалок и совершенно не способен на решительный поступок! «Уж ведь совсем убитый хожу... — говорит он о себе. — Загнан, забит...». Добрый и образованный человек, он не способен защитить ни себя, ни любимую женщину: «Ах, кабы знали эти люди, какво мне прощаться с тобой! Боже мой!... Прощай, Катя! Злодеи вы! Изверги! Эх, кабы сила!». В образе Бориса драматург выразил трагедию безволия, покорного смирения перед обстоятельствами.

Ролью Кулигина обозначен тот смысловой водораздел, который оказывается на стыке двух миров: мира естественно прекрасного, открывающегося где-то в перспективе («Вот, братец ты мой, пятьдесят лет я каждый день гляжу за Волгу и всё наглядеться не могу»), и мира, изуродованного людьми, в которых нет понятий красоты, любви, поэзии, счастья, света, знания. В отношении к миру диких и кабановых Кулигин остаётся просветителем, наследником духовных традиций русского XVIII века. В его словах «Лучше уж стерпеть», «Нечего делать, надо покориться!» и т.д. — звучит не столько рабская безропотность и покорность судьбе, сколько вера в то, что не за горами время, когда честь и достоинство «маленького человека» будут признаны обществом, которое избавится от сословных и других предрассудков.

Лишь Катерине дано в «Грозе» удержать всю полноту жизнеспособных начал в культуре народной и сохранить чувство нравственной ответственности перед лицом тех испытаний, каким эта культура подвергается в Калинове.

В мироощущении Катерины гармонически срастаются христианство и славянская языческая древность. Религиозность Катерины вбирает в себя солнечные восходы и закаты, росистые травы на лугах, полёты птиц, порханье бабочек. С нею заодно и красота сельского храма, и ширь Волги, и заволжский луговой простор.

Радость жизни переживает Катерина в храме. Солнцу кладёт она земные поклоны: «Или рано утром в сад уйду, ещё только солнышко восходит, упаду на колени, молюсь и плачу...».

«Отчего люди не летают? Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы и разбежалась, подняла руки и полетела...». Как понять это фантастическое желание Катерины? В сознании Катерины оживают древние языческие мифы, шевелятся глубинные пласты славянской культуры. В народных песнях тоскующая в нелюбимой семье женщина часто оборачивается кукушкой, прилетает в сад к любимой матушке, жалуется ей на лихую долю. Катерина молится утреннему солнцу, так как славяне считали Восток страной всемогущих плодоносных сил.

Вольнолюбивые порывы Катерины не стихийны: «Такая уж я зародилась горячая! Я ещё лет шести была, не больше, так что сделала! Обидели меня чем-то дома, а дело было к вечеру, уж темно, я выбежала на Волгу, села в лодку, да и отпихнула её от берега». И этот поступок Катерины согласуется с её народной душой. Например, в русских народных сказках сестрица Алёнушка обращается к речке с просьбой спасти её в своих берегах от зла. Так что порыв Катерины искать защиты у Волги — это уход от зла в страну света и добра, это неприятие несправедливости и готовность покинуть этот мир, если он ей «опостылит».

Вся окружающая природа в понятии Катерины — это органы Господа Бога, болеющего за грехи людские. Вот потому

и молится Катерина заре утренней, солнцу красному, видя в них очи Божьи, а в минуту отчаяния обращается к «ветрам буйным», чтобы донесли они до любимого «грусть, тоску-печаль».

Не почувствовав свежести внутреннего мира Катерины, нельзя понять жизненной силы и мощи её характера: «Какая я была резвая!» — обращается Катерина к Варваре, но тут же, сникая, добавляет: — Я у вас завяла совсем». Действительно, цветущая заодно с природой душа Катерины увядает в «тёмном царстве» Кабановых и Диких.

Кажущаяся несвязность отдельных персонажей и эпизодов с центральными событиями, неторопливое, замедленное развитие действия подчинены тонкому расчёту великого драматурга, всё это он возводит в рамки полнейшей естественности происходящего. И чем дальше разворачиваются события, тем яснее и очевиднее становятся связи между персонажами и эпизодами. Все действующие лица, так или иначе, втянуты в основной конфликт драмы.

Следуя за Грибоедовым и Гоголем, Островский выступает как мастер драматического конфликта, реалистически отражающего общественные противоречия эпохи.

Какой же основной конфликт в драме «Гроза»?

Может быть, это противоречие между самодурством и униженностью? Нет. В пьесе ярко показано, что насилие поддерживается покорностью: робость Тихона, безответность Бориса, терпеливая деликатность Кулигина позволяют Кабанихе и Дикому без всякого предела куражиться над ними.

Острое, непримиримое противоречие возникает в «Грозе» в тот момент, когда среди придавленных тиранством, хитрящих и тоскующих людей появляется человек, наделённый гордостью, чувством собственного достоинства, не способный мириться с жизнью в рабстве даже перед лицом смерти.

Светлое человеческое начало в Катерине естественно, как второе дыхание. Это её натура, которая выражается не столько в рассуждениях, сколько в душевной тонкости, в силе переживаний, в отношении к людям, во всём её поведении.

И также естественно, с неизбежностью нарастает конфликт, всё грознее проявляясь на каждом этапе действия.

Столь же неотвратимо, как собирается гроза над Калиновым, приближается и гроза человеческого духа.

Сначала Марфу Игнатьевну тревожит нежелание Катерины сносить её укоры и кланяться. Потом Тихон, не осознавая того, оскорбляет свою жену и оставляет на погибель, торопясь забыться в пьяном разгуле. И самое страшное — Борис Григорьевич, единственная любовь и радость Катерины, так обречённо и беспомощно оставляет Катерину, молясь о её скорой смерти...

Противоборство обостряется и усугубляется в душе самой Катерины: мучительно сталкиваются темный предрассудок и поэтическое озарение, самоотверженная отвага и отчаяние, безоглядная любовь и неуступчивая совесть.

И когда душа эта гибнет, не зная иного спасения от нравственной смерти, от унижения и насилия, вспышка света, ярче грозовой молнии, озаряет всю пьесу, придавая ей новый смысл, далеко выходящий за пределы драмы в купеческой семье, освещает все действующие лица, побуждает и читателя, и зрителя думать, чувствовать, действовать.

Проблемы личности и среды, родовой памяти и индивидуальной активности достигают в «Грозе» своей кульминации. Возможно ли совместить потребности свободной от природы человеческой натуры с порабощением всех проявлений жизни в «тёмном царстве»? На эти вопросы пьеса даёт ответ, содержащий принципиальное неприятие и протест против всего антиприродного, насильственного, стремящегося тиранически подавить собой присущие каждой живой душе здоровые силы.

«Гроза» вызвала самые бурные и неоднозначные отклики в критике. Наиболее принципиальный и обобщающий характер имели выступления А.А. Григорьева («После «Грозы» Островского. Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу», 1860) и Н.А. Добролюбова («Луч света в тёмном царстве», 1860). С точки зрения А.А. Григорьева, «Гроза» лишь подтвердила мнение, сложившееся у критика о пьесах Островского, что ключевым в них является «понятие народной жизни». Характеризуя Островского в целом, критик приходит к выводу: «Имя для этого писателя... — не сатирик, а

народный поэт. Слово для разгадки его деятельности не «самодурство», а «народность».

Добролюбов, не соглашаясь с точкой зрения Григорьева, в протесте Катерины видит «страшный вызов самодурной силе» — вызов особенно значимый, потому что исходит из недр народной жизни в переломную эпоху 1850–1860 гг. «Гроза» для Добролюбова явилась выражением его надежд о возможности зреющих в глубинах России революционных сил, о возможности революции «снизу».

Споры вокруг «Грозы» вновь оживились в связи с публикацией статьи Д.И. Писарева «Мотивы русской драмы» (1864). Оценка поступков Катерины, их человеческого и социального значений у Писарева полностью расходится с оценками Добролюбова и Григорьева. Писарев совершенно глух к нравственным переживаниям героини. С его точки зрения, тип Катерины не сыграл предназначенной ему в русской действительности переходного периода прогрессивной роли, и с этой точки зрения Катерина — совсем не «луч света», а её гибель — нелепа и бессмысленна.

В 1873 году среди произведений Островского появилась «Снегурочка» — написанная белым стихом «весенняя сказка». Это одно из самых душевных и поэтических произведений драматурга. Сказочное царство берендеев — это мир без насилия, обмана и угнетения, где торжествует добро, красота и правда. Это сказка-утопия о братской жизни людей, упрёк современному обществу. В «Снегурочке» стужа людских сердец приносит горе берендеям. Меркнут лучи Ярило-Солнца и охлаждаются людские сердца по отношению друг к другу. Любовь Снегурочки — причина её гибели, но именно она искупает грехи берендеев.

Принимая эту жертву, бог солнца Ярило сменяет гнев на милость, возвращая берендеям свет и тепло, совет и любовь. Не эгоизм, а большая, бескорыстная, беззаветная любовь спасёт человечество — такова вера Островского.

Патриархальный мир купцов сменяется в позднем творчестве Островского миром хищных, цепких и умных дельцов. Особенно ясно эволюция драматургического таланта Островского ощутима в его драме «Бесприданница» (1879).

С бурным, стремительным развитием капиталистических отношений в России 70-х годов рвутся прежние моральные связи, рушатся патриархальные, во многом домостроевские традиции. Мелкие купцы становятся миллионерами, получают европейское образование, фольклор сменяет классическая литература, народная песня вытесняется романсом.

Тема «горячего сердца», гибнущего среди людей, которые предпочли «служенью красоте» выслуживание ради денег, становится главной темой «Бесприданницы». Как и в «Грозе», героиня «Бесприданницы» видит в гибели возможность избавления от невыносимых душевных мук, но между Катериной Кабановой и Ларисой Огудаловой очень большие различия. Душа Катерины формируется на основе многовековой крестьянской культуры, характер её целен, устойчив и решителен. Лариса более хрупкая и незащищённая, её натура более утончённая и психологически многокрасочна, но именно поэтому она лишена свойственной Катерине внутренней силы и бескомпромиссности.

Лариса бедна, она бесприданница, и этим определяется её трагическая судьба. Она живёт в мире, где всё продаётся и покупается, в том числе девичья честь, любовь и красота. Но поэтическая натура Ларисы летит над миром на крыльях музыки: она прекрасно поёт, играет на фортепиано, гитара звучит в её руках. Имя Ларисы в переводе с греческого — чайка. Мечтательная и артистичная, она не замечает в людях пошлых сторон, а ассоциирует их душою героини русского романса. В кульминационной сцене драмы Лариса поёт Паратову романс «Не искушай меня без нужды». В духе этого романса воспринимает она свои отношения с ним. Для неё существует мир только чистых страстей и бескорыстной любви. Судовладелец Паратов не случайно кажется Ларисе идеалом мужчины. Он человек широкой души, отдающийся искренним увлечениям, но душевные взлёты Паратова завершаются торжеством трезвой прозы и делового расчёта. Обращаясь к Кнурову, он заявляет: «У меня, Мокий Пармёныч, ничего заветного нет; найду выгоду, так всё продам, что угодно». Речь идёт о пароходе «Ласточка», но так же, как с ласточкой, он поступает с Ларисой, оставляет её

ради выгоды (женитьбы на миллионах), и губит ради легкомысленного удовольствия.

Бросая вызов непостоянству Паратова, Лариса даёт согласие на брак с Карандышевым, которого также идеализирует как человека с доброй душой, бедного и не понятного окружающим. Но она не чувствует уязвленно-самолюбивой, завистливой основы в душе Карандышева, которого в отношениях с Ларисой больше тешит тщеславие и торжество, чем любовь.

В финале драмы к Ларисе приходит прозрение. Когда она с ужасом узнаёт, что её хотят сделать содержанкой, что Кнуров и Вожеватов разыгрывают её в орлянку, героиня произносит роковые слова: «Вещь... да, вещь. Они правы, я вещь, а не человек». Лариса пытается броситься в Волгу, но осуществить это намерение у неё не достаёт силы, и только выстрел Карандышева приносит ей избавление: «Милый мой, какое благодеяние вы для меня сделали! Пистолет сюда, сюда, на стол! Это я сама... сама... Ах, какое благодеяние».

В «Бесприданнице» Островский раскрывает сложные, психологически многогранные человеческие характеры и жизненные конфликты.

Островский считал возникновение национального театра признаком совершеннолетия нации. Русская драматургия обязана Островскому неповторимым национальным обликом. Островский любит начинать свои пьесы с ответственной реплики персонажа, чтобы у читателя и зрителя появилось ощущение врасплох застигнутой жизни. Финалы его драм всегда имеют относительно счастливый или относительно печальный конец. Это придаёт произведениям Островского открытый характер: жизнь продолжалась до того, как был поднят занавес, и продолжается после того, как он был опущен. Зритель чувствует, что творческие возможности жизни неисчерпаемы, движение жизни не завершено и не остановлено.

Произведения Островского не укладываются ни в одну из классических жанровых форм, что дало повод Добролюбову назвать их «пьесами жизни». Высокое и низкое, серьёзное и смешное причудливо переплетаются в его пьесах. Островский предпочитает не усложнять в жизни простое, а

упрощать сложное, снимать с героев покровы хитрости и обмана, интеллектуальной изощрённости и тем самым обнажать сердцевину вещей и явлений. Островский доверяет мудрости известной поговорки: «На всякого мудреца довольно простоты».

За свою долгую творческую жизнь Островский написал более пятидесяти пьес и создал русский национальный театр. Благодарность и признательность драматургу от имени людей России высказал Гончаров, писавший Островскому: «...Вы один достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после Вас мы, русские, можем с гордостью сказать: «У нас есть свой национальный театр. Он, по справедливости, должен называться «Театр Островского». По словам Гончарова, Островский всю жизнь писал огромную картину. «Картина эта — «Тысячелетний памятник России». Одним концом она упирается в доисторическое время («Снегурочка»), другим — останавливается у первой станции железной дороги...».



ГРОЗА

ДРАМА В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ

Действующие лица:

Савел Прокофьевич Дикой, купец, значительное лицо в городе.

Борис Григорьевич, племянник его, молодой человек, порядочно образованный.

Марфа Игнатьевна Кабанова (Кабаниха), богатая купчиха, вдова.

Тихон Иваныч Кабанов, ее сын.

Катерина, жена его.

Варвара, сестра Тихона.

Кулигин, мещанин, часовщик-самоучка, отыскивающий перпетуум-мобиле.

Ваня Кудряш, молодой человек, конторщик Дикого.

Шапкин, мещанин.

Феклуша, странница.

Глаша, девка в доме Кабановой.

Барыня с двумя лакеями, старуха 70-ти лет, полусума-сшедшая.

Городские жители обоего пола.

Все лица, кроме Бориса, одеты по-русски. (*Прим. А.Н. Островского.*)

Действие происходит в городе Калинове, на берегу Волги, летом. Между 3 и 4 действиями проходит 10 дней.



Монолог Кулигина из пьесы Островского «ГРОЗА»

(«Жестокие нравы, сударь...»)

(отрывок из 1-ого действия, 3-его явления)

Кулигин сидит на скамье и смотрит за реку. Кудряш и Шапкин прогуливаются.

Кулигин. «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мешанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, сударь, не выбиться из этой коры! Потому что честным трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба. А у кого деньги, сударь, тот старается бедного закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денег наживать. Знаете, что ваш дядюшка, Савел Прокофьич, городничему отвечал? К городничему мужички пришли жаловаться, что он ни одного из них путем не разочтет. Городничий и стал ему говорить: «Послушай, говорит, Савел Прокофьич, рассчитывай ты мужиков хорошенько! Каждый день ко мне с жалобой ходят!» Дядюшка ваш потрепал городничего по плечу, да и говорит: «Стоит ли, ваше высокоблагородие, нам с вами об таких пустяках разговаривать! Много у меня в год-то народу перебывает; вы то поймите: недоплачу я им по какой-нибудь копейке на человека, а у меня из этого тысячи составляются, так оно мне и хорошо!» Вот как, сударь! А между собой-то, сударь, как живут! Торговлю друг у друга подры-

вают, и не столько из корысти, сколько из зависти. Враждуют друг на друга; залучают в свои высокие-то хоромы пьяных приказных, таких, сударь, приказных, что и виду-то человеческого на нем нет, обличье-то человеческое истеряно. А те им, за малую благостыню, на гербовых листах злостные кляузы строчат на ближних. И начнется у них, сударь, суд да дело, и несть конца мучениям. Судятся-судятся здесь, да в губернию поедут, а там уж их ждут да от радости руками плещут. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; водят их, водят, волочат их, волочат; а они еще и рады этому волоченью, того только им и надобно. «Я, говорит, потрачусь, да уж и ему станет в копейку». Я было хотел все это стихами изобразить...



(Отрывок из 3-го действия, 1-ого явления)

Улица. Ворота дома Кабановых, перед воротами скамейка.

Кабанова и Феклуша сидят на скамейке.

Феклуша. Последние времена, матушка Марфа Игнатъевна, последние, по всем приметам последние. Еще у вас в городе рай и тишина, а по другим городам так просто содом, матушка: шум, беготня, езда беспрестанная! Народ-то так и сует, один туда, другой сюда.

Кабанова. Некуда нам торопиться-то, милая, мы и живем не спеша.

Феклуша. Нет, матушка, оттого у вас тишина в городе, что многие люди, вот хоть бы вас взять, добродетелями, как цветами, украшаются; оттого все и делается прохладно и благочинно. Ведь эта беготня-то, матушка, что значит? Ведь это суета! Вот хоть бы в Москве; бегают народ взад да вперед неизвестно зачем. Вот она суета-то и есть. Суетный народ, матушка Марфа Игнатъевна, вот он и бегают. Ему представляется-то, что он за делом бежит; торопится, бедный: людей не узнает, ему мерещится, что его манит некто; а придет на место-то, ан пусто, нет ничего, мечта одна. И пойдет в тоске. А другому мерещится, что будто он догоняет кого-то

знакомого. Со стороны-то свежий человек сейчас видит, что никого нет; а тому-то все кажется от суеты, что он догоняет. Суета-то ведь она вроде тумана бывает. Вот у вас в этой прекрасной вечер редко кто и за ворота-то выдет посидеть; а в Москве-то теперь гульбища да игрища, а по улицам-то инда грохот идет; стон стоит. Да чего, матушка Марфа Игнатьевна, огненного змия стали запрягать: все, видишь, для-ради скорости.

Кабанова. Слышала я, милая.

Феклуша. А я, матушка, так своими глазами видела; конечно, другие от суеты не видят ничего, так он им машиной показывается, они машиной и называют, а я видела, как он лапами-то вот так (растопыривает пальцы) делает. Ну, и стон, которые люди хорошей жизни, так слышат.

Кабанова. Назвать-то всячески можно, пожалуй, хоть машиной назови; народ-то глуп, будет всему верить. А меня хоть ты золотом осыпь, так я не поеду.

Феклуша. Что за крайности, матушка! Сохрани господи от такой напасти! А вот еще, матушка Марфа Игнатьевна, было мне в Москве видение некоторое. Иду я рано поутру, еще чуть брезжится, и вижу на высоком-превысоком доме, на крыше, стоит кто-то, лицом черен. Уж сами понимаете кто. И делает он руками, как будто сыпет что, а ничего не сыпется. Тут я догадалась, что это он плевелы сыпет, а народ днем в суете-то в своей невидимо и подберет. Оттого-то они так и бегают, оттого и женщины-то у них все такие худые, тела-то никак не нагуляют, да как будто они что потеряли, либо чего ищут: в лице печаль, даже жалко.

Кабанова. Все может быть, моя милая! В наши времена чего дивиться!

Феклуша. Тяжелые времена, матушка Марфа Игнатьевна, тяжелые. Уж и время-то стало в умаление приходиться.

Кабанова. Как так, милая, в умаление?

Феклуша. Конечно, не мы, где нам заметить в суете-то! А вот умные люди замечают, что у нас и время-то короче становится. Бывало, лето и зима-то тянутся-тянутся, не дождешься, когда кончатся; а нынче и не увидишь, как пролетят. Дни-то и часы все те же как будто остались; а время-то,

за наши грехи, все короче и короче делается. Вот что умные-то люди говорят.

Кабанова. И хуже этого, милая, будет.

Феклуша. Нам-то бы только не дожить до этого.

Кабанова. Может, и доживем.

Входит Дикой.



(Действие 1-ое. Явление 7-ое)

Катерина. Отчего люди не летают!

Варвара. Я не понимаю, что ты говоришь.

Катерина. Я говорю: отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Попробовать нешто теперь? (Хочет бежать.)

Варвара. Что ты выдумываешь-то?

Катерина (вздыхая). Какая я была резвая! Я у вас завяла совсем.

Варвара. Ты думаешь, я не вижу?

Катерина. Такая ли я была! Я жила, ни об чем не тужила, точно птичка на воле. Маменька во мне души не чаяла, наряжала меня, как куклу, работать не принуждала; что хочу, бывало, то и делаю. Знаешь, как я жила в девушках? Вот я тебе сейчас расскажу. Встану я, бывало, рано; коли летом, так схожу на ключик, умоюсь, принесу с собою водицы и все, все цветы в доме полью. У меня цветов было много-много. Потом пойдем с маменькой в церковь, все и странницы — у нас полон дом был странниц да богомолков. А придем из церкви, сядем за какую-нибудь работу, больше по бархату золотом, а странницы станут рассказывать, где они были, что видели, жития разные, либо стихи поют. Так до обеда время и пройдет. Тут старухи уснуть лягут, а я по саду гуляю. Потом к вечерне, а вечером опять рассказы да пение. Таково хорошо было!

Варвара. Да ведь и у нас то же самое.

Катерина. Да здесь все как будто из-под неволи. И до смерти я любила в церковь ходить! Точно, бывало, я в рай

войду, и не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда служба кончится. Точно как все это в одну секунду было. Маменька говорила, что все, бывало, смотрят на меня, что со мной делается! А знаешь, в солнечный день из купола такой светлый столб вниз идет, и в этом столбе ходит дым, точно облака, и вижу я, бывало, будто ангелы в этом столбе летают и поют. А то, бывало, девушка, ночью встану — у нас тоже везде лампадки горели — да где-нибудь в уголке и молюсь до утра. Или рано утром в сад уйду, еще только солнышко восходит, упаду на колена, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чем молюсь и о чем плачу; так меня и найдут. И об чем я молилась тогда, чего просила, не знаю; ничего мне не надобно было, всего у меня было довольно. А какие сны мне снились, Варенька, какие сны! Или храмы золотые, или сады какие-то необыкновенные, и всё поют невидимые голоса, и кипарисом пахнет, и горы, и деревья будто не такие, как обыкновенно, а как на образах пишутся. А то будто я летаю, так и летаю по воздуху. И теперь иногда снится, да редко, да и не то.

(отрывок из 5-го действия 4-ого явления)

Катерина (одна). «Куда теперь? Домой идти? Нет, мне что домой, что в могилу — все равно. Да, что домой, что в могилу!.. что в могилу! В могиле лучше... Под деревцом могилушка... как хорошо!.. Солнышко ее греет, дождичком ее мочит... весной на ней травка вырастет, мягкая такая... птицы прилетят на дерево, будут петь, детей выведут, цветочки расцветут: желтенькие, красненькие, голубенькие... всякие (задумывается), всякие... Так тихо, так хорошо! Мне как будто легче! А об жизни и думать не хочется. Опять жить? Нет, нет, не надо... нехорошо! И люди мне противны, и дом мне противен, и стены противны! Не пойду туда! Нет, нет, не пойду! Придешь к ним, они ходят, говорят, а на что мне это? Ах, темно стало! И опять поют где-то! Что поют? Не разберешь... Умереть бы теперь... Что поют? Все равно, что смерть придет, что сама... а жить нельзя! Грех! Молиться не будут? Кто любит, тот будет молиться... Руки крест-накрест

складывают... в гробу! Да, так... я вспомнила. А поймают меня, да воротят домой насильно... Ах, скорей, скорей! (Подходит к берегу. Громко.) Друг мой! Радость моя! Прощай! (Уходит.)»

Драма Островского «Гроза» в оценке критики

Н.А. Добролюбов:

«Решительный, цельный русский характер, действующий в среде Диких и Кабановых, является у Островского в женском типе... Известно, что крайности отражаются крайностями и что самый сильный протест бывает тот, который поднимается, наконец, из груди самых слабых и терпеливых. <...> Катерина вовсе не принадлежит к буйным характерам, никогда не довольным, любящим разрушать во что бы то ни стало. Напротив, это характер по преимуществу созидающий, любящий, идеальный. Вот почему она старается все осмыслить и облагородить в своем воображении... <...> ...у Катерины, как личности непосредственной, живой, все делается по влечению натуры, без отчетливого сознания, а у людей, развитых теоретически и сильных умом, — главную роль играет логика и анализ. <...> В Катерине видим мы протест против кабановских понятий о нравственности, протест, доведенный до конца, провозглашенный и под домашней пыткой, и над бездной, в которую бросилась бедная женщина. Она не хочет мириться, не хочет пользоваться жалким прозябаньем, которое ей дают в обмен на ее живую душу. <...> Слова Тихона дают ключ к уразумению пьесы для тех, кто бы даже и не понял ее сущности ранее; они заставляют зрителя подумать уже не о любовной интриге, а обо всей этой жизни, где живые завидуют умершим, да еще каким — самоубийцам!..»

(Н.А. Добролюбов, «Луч света в темном царстве», журнал «Современник», 1860 г., №10)

М.И. Писарев:

«Новое произведение г. Островского исполнено жизни, свежести красок и величайшей правды. <...> По содержанию своему драма относится к купеческому быту глухого

городка, но и в этом быту, задавленном бессмысленною обрядностью, мелкою спесью, пробивается порою искра человеческого чувства. <...> Сущность драмы г. Островского, очевидно, состоит в борьбе свободы нравственного чувства с самовластием семейного быта. С одной стороны, рабское повиновение старшему в доме по древнему обычаю, застывшему неподвижно, без исключений, в неумолимой своей строгости; с другой — семейный деспотизм по тому же закону — выражаются в Кабановых: Тихоне и его матери. <...> Катерина должна бороться и с самой собою, и с семьею, олицетворяемой в свекрови... <...> «Гроза» — картина с натуры, бойко написанная свежими, густыми, самоцветными красками. Оттого она дышит величайшею правдой».

(М.И. Писарев, «Гроза». Драма А.Н. Островского», газета «Оберточный листок», 1860 г., 11 и 18 мая)

❧ БЕСПРИДАННИЦА ❧

ДРАМА В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

Лица:

Харита Игнатьевна Огудалова, вдова средних лет; одета изящно, но смело и не по летам.

Лариса Дмитриевна, ее дочь, девица; одета богато, но скромно.

Мокий Парменьч Кнуров, из крупных дельцов последнего времени, пожилой человек, с громадным состоянием.

Василий Данилыч Вожеватов, очень молодой человек, один из представителей богатой торговой фирмы; по костюму европеец.

Юлий Капитоныч Карандышев, молодой человек, небогатый чиновник.

Сергей Сергееч Паратов, блестящий барин, из судовладельцев, лет за 30.

Робинзон.



Гаврило, клубный буфетчик и содержатель кофейной на бульваре.

Иван, слуга в кофейной.

Действие происходит в настоящее время, в большом городе Брахимове на Волге.

(отрывок из действия IV явления 9)

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Цыгане и цыганки. Декорация первого действия.

Светлая летняя ночь. Лариса одна.



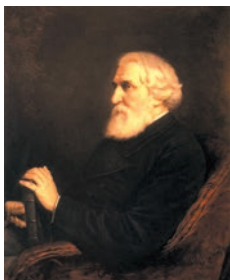
Лариса одна. Я давеча смотрела вниз через решетку, у меня закружилась голова, и я чуть не упала. А если упасть, так, говорят... верная смерть! (Подумав.) Вот хорошо бы броситься! Нет, зачем бросаться!.. Стоять у решетки и смотреть вниз, закружится голова и упадешь... Да, это лучше... в беспамьятстве, ни боли... ничего не будешь чувствовать! (Подходит к решетке и смотрит вниз. Нагибается, крепко хватается за решетку, потом с ужасом отбегает.) Ой, ой! Как страшно! (Чуть не падает, хватается за беседку.) Какое головокружение! Я падаю, падаю, ай! (Садится у стола подле беседки.) Ох, нет!.. (Сквозь слезы.) Расставаться с жизнью совсем не так просто, как я думала. Вот и нет сил! Вот я какая несчастная! А ведь есть люди, для которых это легко. Видно, уж тем совсем жить нельзя, их ничто не прельщает, им ничто не мило, ничего не жалко. Ах, что я!.. Да если и мне ничто не мило, и мне жить нельзя, и мне жить незачем! Что ж я не решаюсь? Что меня держит над этой пропастью? Что мешает? (Задумывается.) Ах, нет, нет... не Кнуров... Роскошь, блеск... нет, нет... я далека от суеты... (Вздвинув.) Разврат... ох, нет... Просто решимости не имею. Жалкая слабость: жить, хоть как-нибудь, да жить... когда нельзя жить и не нужно. Какая я жалкая, несчастная. Кабы теперь меня убил кто-нибудь... Как хорошо умереть... пока

еще упрекнуть себя не в чем. Или захворать и умереть... Да я, кажется, захвораю. Как дурно мне!.. Хворать долго, успокоиться, со всем примириться, всем простить и умереть... Ах, как дурно, как кружится голова. (Подпирает голову рукой и сидит в забытьи.)

Вопросы и задания:

1. Дайте творческую характеристику истории «Грозы».
2. Почему «Гроза» открывается песней Кулигина, а в характерах героев ощущается песенная стихия?
3. В чём сила и слабость «самодурства» Дикого и Кабанихи?
4. В чём суть конфликта Катерины с «тёмным царством»?
5. Определите народные истоки характера Катерины.
6. В чём можно согласиться и с чем поспорить в добролюбовской, григорьевской и писаревской трактовках характера Катерины?
7. Как вы оцениваете покаяние Катерины?
8. Что сближает и отличает Ларису из «Бесприданницы» от Катерины из «Грозы»?
9. В чём источник драмы Ларисы Огудаловой?
10. Чем заслужили пьесы Островского всенародное признание?





ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ (1818–1883)



Иван Сергеевич Тургенев родился 28 октября (9 ноября) 1818 года в Орле в дворянской семье. Детские годы Тургенева прошли в имении матери Спасское-Лутовиново Мценского уезда Орловской губернии. Мать Тургенева, Варвара Петровна, принадлежала к дворянскому роду Лутовиновых, и её характер всецело отражал властолюбивую и безудержную натуру ее праотцов. Отец, Сергей Николаевич, принадлежал к старинному роду Тургеновых, берущих своё начало от правления Ивана Грозного. Сергей Николаевич был участником Бородинского сражения, где был ранен и награждён за храбрость Георгиевским крестом. Брак Сергея Николаевича Тургенева и Варвары Петровны Лутовиновой нельзя было назвать счастливым, он женился на ней по расчёту. Отец писателя не принимал никакого участия в семейных делах и холодно относился к жене, которая в ответ вымещала личные обиды на своих домашних и крепостных слугах и была с ними особенно жестока.

Эти впечатления порождали в пытливой душе мальчика Тургенева недоуменные вопросы и мешали в полной мере испытать тепло семьи и родного дома.

От разрушительного влияния крепостничества Тургенева спасало общение с людьми из народа, талантливыми, вольнолюбивыми, с широкой, доброй и щедрой душой. Из Спасского он вынес свою страстную любовь к русской природе, которую сохранил на всю жизнь.

Иван Сергеевич Тургенев получил блестящее образование, он с детских лет читал и свободно говорил на трёх ев-

ропейских языках — немецком, французском и английском. В 1837 году Тургенев успешно, со степенью кандидата, закончил филологическое отделение философского факультета Петербургского университета. Уже в университете Тургенева начали все больше занимать мысли о несовершенстве земного миропорядка и о социальной несправедливости, его серьёзно начали интересовать философские вопросы. После окончания университета Тургенев отправляется в Германию изучать немецкую философию. Учения немецких философов Шеллинга и Гегеля дали Тургеневу целостное воззрение на жизнь природы и общества, вселили веру в разумную целесообразность исторического процесса, устремлённого к конечному торжеству правды, добра и красоты.

В 1841 году Тургенев вернулся в Россию и поступил на службу в Министерство внутренних дел, в 1845 году он уходит в отставку и целиком отдаётся литературной деятельности.

В 1843 году он знакомится с великим русским критиком В.Г. Белинским, который высоко оценил в Тургеневе глубокую философскую подготовку и тонкое художественное чутьё. Именно Белинский нацелил Тургенева на создание сборника «Записки охотника», убеждая его обратиться к изображению народной жизни: «Народ — почва, — говорил он, — хранящая жизненные соки всякого развития; личность — плод этой почвы».

Летние месяцы Тургенев проводил в деревне, блуждая с ружьём по охотничьим заимкам. Охота стала для Тургенева способом изучения строя народной жизни, его природы и уклада. Он подружился с крестьянином-охотником Афанасием Алифановым, который раскрывал перед Тургеневым глубинные тайники народного бытия. Исходя из опыта своих наблюдений, Тургенев приходил к выводу, что крепостное право не смогло уничтожить в народе его живую душу и могучую силу духа, что в «русском человеке таится и зреет зародыш будущих великих дел, великого народно-го развития».

В январе 1847 года в журнале «Современник» был опубликован очерк Тургенева «Хорь и Калиныч», который

вызвал восторженный отклик читателей и побудил писателя к созданию книги «Записки охотника».

В «Записках охотника» Тургенев столкнул две России: официальную, крепостническую, с ее мертвящей жизнью и народно-крестьянскую, живую и поэтическую.

Живой, целостный образ народной России предстает в неразрывной связи с природой. Герои «Записок охотника» не просто изображаются на фоне природы, а выступают её продолжением. Тургенев высвечивает и делает зримой в этом произведении скрытую от многих взаимную связь всего в природе: человека и реки, человека и леса, человека и степи.

Россия в «Записках охотника» наполнена движением и жизнью, она развивается и растёт, ясно слышится мотив правдолюбия и правдоискательства, тоски русской души по идеалу, готовности к самопожертвованию и бескорыстию, необычайной природной одарённости и силы.

Существование сильных, мужественных и ярких народных характеров превращало крепостное право в позор и унижение России, несовместимое с нравственным достоинством русского человека.

В «Записках охотника» Тургенев впервые представил Россию как живое художественное целое. Это произведение является прямой дорогой не только к «Запискам из мёртвого дома» Достоевского, «Губернским очеркам» Салтыкова-Щедрина, но и к эпопее «Война и мир» Толстого.

Писатель восхищается силой духа и нравственной чистотой русского крестьянина, но в то же время у него появляются сомнения в его гражданской зрелости. Тургенев считает, что века крепостного права отучили народ чувствовать себя хозяином родной земли. Эта мысль особенно ярко проявилась в повестях «Муму» и «Постоялый двор». Тургенев создал их, находясь в ссылке в своём родовом имении Спасское-Лутовиново, куда его отправили за нарушение цензурных правил при публикации статьи, посвящённой памяти Гоголя, но истинной причиной ареста была связь писателя с прогрессивными кругами революционной Европы — Бакуниным, Герценом, Гервегом.

С 1847 по 1850 гг. Тургенев жил в Париже и был свидетелем трагических событий Французской революции

1848 года. Разгром революционного движения рабочих глубоко потряс Тургенева, июньские дни явились крахом буржуазных иллюзий писателя в социализме, сомнениями в народе как творце истории. Творческой силой истории Тургенев начинает считать интеллигенцию. В период Спасской ссылки, продолжавшейся с 1852 до конца 1853 года, Тургенев пишет ряд повестей – «Два приятеля», «Затишье», «Переписка», в которых со всех сторон исследует психологию русского интеллигента. Эти повести явились толчком к написанию первого романа Тургенева «Рудин».

Роман «Рудин» был написан в обстановке назревшего после неудач Крымской войны общественного подъёма. Главный герой романа во многом автобиографичен: это человек тургеневского поколения, который получил хорошее философское образование в Берлинском университете. Характер Рудина раскрывается в слове. Он покоряет общество блеском своего ума и красноречия о смысле жизни, о назначении человека. Его речи вдохновляют и ведут к обновлению жизни, к героическим свершениям.

Но окружение не замечает, что в рудинском красноречии есть изъян – превосходно владея философским языком, он беспомощен в описании обычных вещей и истин, не умеет смешить и не умеет смеяться.

Противоречивый характер своего героя Тургенев подвергает главному испытанию – любовью. Наталья Ласунская полюбила Рудина за его полные энтузиазма речи, для неё Рудин – человек подвига, за которым она готова идти на любые жертвы. Но годы отвлечённой философской работы иссушили в Рудине живые источники сердца и души. Первое же препятствие на пути их любви – отказ Дарьи Михайловны Ласунской выдать дочь за бедного человека – приводит героя в полное замешательство, и он говорит в ответ на любовные порывы Натальи: «Надо покориться».

В Рудине отражается трагическая судьба человека тургеневского поколения, воспитанного немецким философским идеализмом. В русской жизни Рудин – чужестранник. В финале романа Рудин гибнет на парижских баррикадах с красным знаменем в руке. Переход Рудина от красивых речей к действию, от философских сентенций к готовности посто-

ять до последнего за свои идеалы свидетельствовал о появлении людей новой генерации — людей не только слова, но и дела. Это уже не «лишние люди» вроде Печорина. Не случайно восторженные речи Рудина жадно ловит разночинец Батистов из будущих «новых людей».

К 1858 году относится создание романа «Дворянское гнездо», который стал последней попыткой Тургенева найти героя того времени среди дворян.

В романе «Накануне», вышедшем в 1860 году, наметился тип нового героя, общественного деятеля. Герой романа — болгарин Дмитрий Инсаров. Он живет и учится в России, но полностью посвятил себя делу освобождения своей родины от османского ига. Герой этот сродни Дон-Кихоту, который, по словам Тургенева, выражает собой «веру прежде всего, веру в нечто вечное, незыблемое, в истину, одним словом, в истину, находящуюся вне отдельного человека, но легко ему дающуюся, требующую служения и жертв, но доступную постоянству служения и силе жертвы». Самоотверженное служение идеалу, воплощенное в Дон-Кихоте, и способность к самоанализу, отличавшая Гамлета, являются, по мнению Тургенева, вечными свойствами человеческой природы, которые в той или иной мере присущи всем людям.

Эта готовность к самопожертвованию наиболее сильно показана в образе Инсарова. Его цельность и решительность, единство слова и дела привлекают к нему героиню романа — Елену Стахову — девушку, которая предпочитает Инсарова многообещающему ученому Берсеневу и талантливому скульптору Шубину. Это предпочтение, по замыслу автора, отвечало общественной потребности в политических деятелях, которая ощущалась в условиях России того времени острее всего. Добролюбов, опубликовавший в журнале «Современник» в связи с выходом романа статью «Когда же придет настоящий день?», основываясь на реалистическом изображении жизни в этом произведении, говорил о появлении в ближайшее время русского Инсарова — борца за освобождение народа от крепостничества. Но Тургенев, как человек либеральных взглядов, вопреки своему писательскому предвидению, не согласился с таким выводом крити-

ка, что послужило причиной разрыва Тургенева с «Современником».

Стык 50-х и 60-х годов — время работы Тургенева над романом **«Отцы и дети»**, который в 1862 году был напечатан в журнале «Русский вестник».

Уже само название «Отцы и дети» подсказывает, что роман построен на антитезе. Большую роль на его страницах играют напряженные споры героев, конфликты между персонажами, их мучительные размышления. Сюжет строится на соединении прямого и последовательного повествования с жизнеописанием основных героев. Истории жизни персонажей нарушают течение романного повествования, уводят читателя в иные времена, к истокам происходящего в современности. Так, биография Павла Петровича Кирсанова прерывает общий ход повествования. Его жизнеописание заметно отличается от общей стилистики романа. Тургенев, рассказывая историю жизни Павла Петровича, намеренно приближается к стилю образности романов 30–40-х годов XIX века (на это время выпадает молодость героя), воссоздает особый стиль романтического повествования, уводящего от реальной повседневности.

Центр повествования занимает фигура Базарова. Все сюжетные линии тянутся к нему. В романе нет ни одного сколько-нибудь значительного эпизода, в котором бы не участвовал Базаров. Из двадцати восьми глав он не появляется лишь в двух. Умирает Базаров, и кончается роман. Система действующих лиц выстроена так, что отношения героев с Базаровым раскрывают читателю их внутреннюю сущность, в то же время сопоставление каждого из них с Базаровым вносит какой-либо новый штрих в характер главного героя. Можно выстроить целую цепочку таких сопоставлений: Базаров — Павел Петрович, Базаров — Николай Петрович, Базаров — Аркадий, Базаров — Одинцова, Базаров — родители, Базаров — Ситников и Кукшина, Базаров — дворовые, Базаров — мужики в его собственной деревне, Базаров — Фенечка и т.д. Но думается, главное сопоставление — это Базаров и автор. В романе Базаров оказывается крупнее, масштабнее любого из действующих лиц, и только сила таланта автора, его поклонение вечной истине и веч-

ной красоте торжествуют над Базаровым. Тургенев противопоставляет Базарову не какого-либо героя или группу героев, а саму жизнь.

Чтобы осуществить эту задачу, И.С. Тургенев избирает весьма своеобразную композицию. Он дважды проводит Базарова по кругу: Марьино (Кирсановы) – Никольское (Одинцова) – родительская деревенька. В итоге создается поразительный эффект. В ту же обстановку, в схожие ситуации, к тем же людям во второй части романа приходит иной Базаров: страдающий, сомневающийся, мучительно переживающий любовную драму, пытающийся отгородиться от реальной сложности жизни своей нигилистической философией. Даже любимая наука теперь не приносит облегчения.

Вторая половина романа строится на разрушении прежних связей Базарова с другими героями. Автор проводит своего героя по книге, последовательно устраивая ему экзамены во всех сферах жизни – дружбе, вражде, любви, семейных узах. И Базаров последовательно проваливается всюду. Черета этих «экзаменов» и составляет сюжет романа.

Постепенно Базаров остается в полном одиночестве, наедине со смертью, которую «попробуй отрицать», она сама «тебя отрицает». В эпилоге романа обнаруживается полная несостоятельность нигилизма Базарова перед вечным движением жизни и величественным спокойствием «равнодушной» природы.

Почему И.С. Тургенев не завершил роман смертью Базарова, этой наиболее сильной в художественном отношении сценой? Ведь о главном герое сказано, казалось бы, все. Для чего нужно было писателю создавать своеобразный эпилог – 28 главу?

Во-первых, внимательно приглядимся к ее композиции. Главу обрамляют два пейзажа. Открывает ее дивный, чисто русский, зимний: «Стояла белая зима с жестокою тишиной...». Звучит, как музыка, как бы предвещающая мелодичность и ритмический строй стихотворений в прозе.

Второй пейзаж, завершающий главу и роман в целом, насквозь пронизан лиризмом и элегической печалью о быстротекущем времени, мыслью о всепримиряющей вечности, о бессмертной силе любви и о «жизни бесконечной».

Итак, треть текста эпилога занимают картины природы, которые, как обычно у Тургенева, гармонируют с чувствами и переживаниями героев или оттеняют их. Природа как бы становится главным действующим лицом в той нравственно-психологической коллизии, к которой приходят герои в эпилоге.

Через весь роман, то затихая, то нарастая, если иметь в виду тональность повествования, как бы споря между собой, звучат два мотива — иронический и лирический. На заключительных страницах романа лирические мотивы нарастают и достигают кульминации.

Перед тем как нарисовать небольшое сельское кладбище и одинокую могилу Базарова, Тургенев, то усиливая, то ослабляя иронию, рассказывает о дальнейшей судьбе героев: Одинцовой, которая доживет со своим мужем, «пожалуй, до счастья... пожалуй, до любви», в том же ключе сообщается и о княжне Х...ой, забытой «в самый день ее смерти», и о Петре, совсем окоченевшем «от глупости и важности». «Немножко грустно и, в сущности, очень хорошо» описана семейная идиллия Кирсановых — отца и сына.

В рассказ о жизни Павла Петровича за границей врываются наряду с иронией грустные нотки, и внимательный читатель заметит не только серебряную пепельницу в виде мужицкого лаптя, но и его трагическое одиночество: «жить ему тяжело... тяжелей, чем он сам подозревает. Стоит взглянуть на него в русской церкви, когда, прислонясь в сторонке к стене, он задумывается и долго не шевелится, горько стиснув губы, потом вдруг опомнится и начинает почти незаметно креститься...».

Мягкий юмор, с которым повествует Тургенев о своих героях, сменяется резкой иронией и даже сарказмом, когда он пишет о дальнейшей судьбе «последователей Базарова» — Ситникове и Кукшиной. Здесь и в авторской речи сатирически звучит слово «ирония»: «Говорят его (Ситникова) недавно кто-то побил, но он в долгу не остался: в одной темной статейке, тиснутой в одном темном журнальце, он намекнул, что побивший его — трус. Он называет это иронией...»

И вдруг интонация резко меняется. Торжественно, грустно и величественно рисует Тургенев могилу Базарова. Финал напоминает мощную, страстную музыку Бетховена. Автор словно горячо спорит, страстно и напряженно размышляет о мятежном человеке, на могилу которого он привел читателя, о его неутешных родителях: «Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна?»

Повторы, восклицания, вопросы — все это передает драматизм раздумий автора, глубину и искренность его чувств. Так можно лишь писать о дорогом и очень близком человеке. Можно по-разному трактовать заключительные строки романа, но одно несомненно — Тургенев, прощаясь со своими героями, еще раз отчетливо выразил свое к ним отношение и подчеркнул основную идею романа, которую наиболее точно уловил критик Н.Н. Страхов: «Как бы то ни было, Базаров все-таки побежден не лицами и не случайностями жизни. Такая идеальная победа над ним возможна была только при условии, чтобы ему была отдана всевозможная справедливость... Иначе в самой победе не было бы силы и значения».

В лице Евгения Базарова Тургенев изобразил новую социальную силу — различинную интеллигенцию, идущую на смену дворянству во всех сферах русской жизни. В этом — социальный аспект конфликта романа; революционно-демократические взгляды Базарова и либеральные воззрения его основного оппонента — Павла Петровича Кирсанова — составляют политическую его сторону. Однако для Тургенева не менее важна и философская подоснова этого конфликта: попытка Базарова в соответствии со своими вульгарно-материалистическими убеждениями выстроить модель жизненного поведения. Внутренний конфликт героя отражает кризис его сознания, который в итоге приводит к внешне немотивированной смерти героя.

В образе Базарова Тургенев попытался нарисовать русского Дон-Кихота, но его герой является в то же время носителем гамлетовского скептицизма. Это объясняется тем, что писатель запечатлевает характер не в уже сформировавшемся виде, а в стадии становления; его герой в мучитель-

ных поисках обретает самого себя. Роман вызвал многочисленные и противоречивые отзывы в критике, которые способствовали дальнейшему развитию общественного самосознания. С самой благожелательной оценкой романа и образа главного героя выступил Д.И. Писарев. В статье «Базаров» он дал всесторонний анализ образа главного героя и того общественного явления, которое отразилось в нем.

Общественно-политическая ситуация 60–70-х годов охарактеризована в романе Тургенева «Дым» (1867), в котором выражено скептическое отношение писателя к социальным реформам 60-х гг. В романе «Новь» (1876) он попытался создать образы русских революционеров-народников. Не сочувствуя их программе, он тем не менее с симпатией рисует образы революционной молодежи 70-х годов.



Роман

❧ «ОТЦЫ И ДЕТИ» ❧

Отрывки художественного текста

Глава X

Прошло около двух недель. Жизнь в Марьине текла своим порядком: Аркадий сибаритствовал, Базаров работал. Все в доме привыкли к нему, к его небрежным манерам, к его немногосложным и отрывочным речам. Фенечка, в особенности, до того с ним освоилась, что однажды ночью велела разбудить его: с Митей сделались судороги; и он пришел и, по обыкновению, полушутя, полузевая, просидел у ней часа два и помог ребенку. Зато Павел Петрович всеми силами души своей возненавидел Базарова: он считал его гордецом, нахалом, циником, плебеем; он подозревал, что Базаров не уважает его, что он едва ли не презирает его — его, Павла Кирсанова! Николай Петрович побаивался молодого «нигилиста» и сомневался в пользе его влияния на Аркадия; но он охотно его слушал, охотно присутствовал при его физических и химических опытах. Базаров привез с собой микро-

скоп и по целым часам с ним возился. Слуги также привязались к нему, хотя он над ними подтрунивал: они чувствовали, что он все-таки свой брат, не барин. Дуняша охотно с ним хихикала и искоса, значительно посматривала на него, пробегая мимо «перепелочкой»; Петр, человек до крайности самолюбивый и глупый, вечно с напряженными морщинами на лбу, человек, которого все достоинство состояло в том, что он глядел учтиво, читал по складам и часто чистил щеточкой свой сюртучок, — и тот ухмылялся и светлел, как только Базаров обращал на него внимание; дворовые мальчишки бегали за «дохтуром», как собачонки. Один старик Прокофьич не любил его, с угрюмым видом подавал ему за столом кушанья, называл его «живодером» и «прощельгой» и уверял, что он с своими бакенбардами — настоящая свинья в кусте. Прокофьич, по-своему, был аристократ не хуже Павла Петровича.

Наступили лучшие дни в году — первые дни июня. Погода стояла прекрасная; правда, издали грозилась опять холера, но жители ...й губернии успели уже привыкнуть к ее посещениям. Базаров вставал очень рано и отправлялся версты за две, за три, не гулять — он прогулок без дела терпеть не мог, — а собирать травы, насекомых. Иногда он брал с собой Аркадия. На возвратном пути у них обыкновенно завязывался спор, и Аркадий обыкновенно оставался побежденным, хотя говорил больше своего товарища.

Однажды они как-то долго замешкались; Николай Петрович вышел к ним навстречу в сад и, поравнявшись с беседкой, вдруг услышал быстрые шаги и голоса обоих молодых людей. Они шли по ту сторону беседки и не могли его видеть.

— Ты отца недостаточно знаешь, — говорил Аркадий.

Николай Петрович притаился.

— Твой отец добрый малый, — промолвил Базаров, — но он человек отставной, его песенка спета.

Николай Петрович приник ухом... Аркадий ничего не отвечал.

«Отставной человек» постоял минуты две неподвижно и медленно поплелся домой.

— Третьего дня, я смотрю, он Пушкина читает, — продолжал между тем Базаров. — Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится. Ведь он не мальчик: пора бросить эту ерунду. И охота же быть романтиком в нынешнее время! Дай ему что-нибудь дельное почитать.

— Что бы ему дать? — спросил Аркадий.

— Да, я думаю, Бюхнерово «Stoff und Kraft» {«Материя и сила» (нем.).} на первый случай.

— Я сам так думаю, — заметил одобрительно Аркадий. — «Stoff und Kraft» написано популярным языком...

— Вот как мы с тобой, — говорил в тот же день после обеда Николай Петрович своему брату, сидя у него в кабинете, — в отставные люди попали, песенка наша спета. Что ж? Может быть, Базаров и прав; но мне, признаюсь, одно больно: я надеялся именно теперь тесно и дружески сойтись с Аркадием, а выходит, что я остался назади, он ушел вперед, и понять мы друг друга не можем.

— Да почему он ушел вперед? И чем он от нас так уж очень отличается? — с нетерпением воскликнул Павел Петрович. — Это все ему в голову синьор этот вбил, нигилист этот. Ненавижу я этого лекаришку; по-моему, он просто шарлатан; я уверен, что со всеми своими лягушками он и в физике недалеко ушел.

— Нет, брат, ты этого не говори: Базаров умен и знающ.

— И самолюбие какое противное, — перебил опять Павел Петрович.

— Да, — заметил Николай Петрович, — он самолюбив. Но без этого, видно, нельзя; только вот чего я в толк не возьму. Кажется, я все делаю, чтобы не отстать от века: крестьян устроил, ферму завел, так что даже меня во всей губернии красным величают; читаю, учусь, вообще стараюсь стать в уровень с современными требованиями, — а они говорят, что песенка моя спета. Да что, брат, я сам начинаю думать, что она точно спета.

— Это почему?

— А вот почему. Сегодня я сию да читаю Пушкина... помнится, «Цыгане» мне попались... Вдруг Аркадий подхо-

дит ко мне и молча, с таким ласковым сожалением на лице, тихонько, как у ребенка, отнял у меня книгу и положил передо мной другую, немецкую... улыбнулся, и ушел, и Пушкина унес.

— Вот как! Какую же он книгу тебе дал?

— Вот эту.

И Николай Петрович вынул из заднего кармана сюртука пресловутую брошюру Бюхнера, девятого издания. Павел Петрович повертел ее в руках.

— Гм! — промычал он. — Аркадий Николаевич заботится о твоём воспитании. Что ж, ты пробовал читать?

— Пробовал.

— Ну и что же?

— Либо я глуп, либо это все — вздор. Должно быть, я глуп.

— Да ты по-немецки не забыл? — спросил Павел Петрович.

— Я по-немецки понимаю.

Павел Петрович опять повертел книгу в руках и исподлобья взглянул на брата. Оба помолчали.

— Да, кстати, — начал Николай Петрович, видимо желая переменить разговор. — Я получил письмо от Колязина.

— От Матвея Ильича?

— От него. Он приехал в *** ревизовать губернию. Он теперь в тузы вышел и пишет мне, что желает, по-родственному, повидаться с нами и приглашает нас с тобой и с Аркадием в город.

— Ты поедешь? — спросил Павел Петрович.

— Нет; а ты?

— И я не поеду. Очень нужно тащиться за пятьдесят верст киселя есть. Mathieu хочет показаться нам во всей своей славе; черт с ним! будет с него губернского фимиама, обойдется без нашего. И велика важность, тайный советник! Если б я продолжал служить, тянуть эту глупую лямку, я бы теперь был генерал-адъютантом. Притом же мы с тобой отставные люди.

— Да, брат; видно, пора гроб заказывать и ручки складывать крестом на груди, — заметил со вздохом Николай Петрович.

— Ну, я так скоро не сдамся, — пробормотал его брат. — У нас еще будет схватка с этим лекарем, я это предчувствую.

Схватка произошла в тот же день за вечерним чаем. Павел Петрович сошел в гостиную уже готовый к бою, раздраженный и решительный. Он ждал только предложения, чтобы накинуться на врага; но предложение долго не представлялось. Базаров вообще говорил мало в присутствии «старичков Кирсановых» (так он называл обоих братьев), а в тот вечер он чувствовал себя не в духе и молча выпивал чашку за чашкой. Павел Петрович весь горел нетерпением; его желания сбылись наконец.

Речь зашла об одном из соседних помещиков. «Дряннь, аристократишко», — равнодушно заметил Базаров, который встречался с ним в Петербурге.

— Позвольте вас спросить, — начал Павел Петрович, и губы его задрожали, — по вашим понятиям слова: «дряннь» и «аристократ» одно и то же означают?

— Я сказал: «аристократишко», — проговорил Базаров, лениво отхлебывая глоток чаю.

— Точно так-с: но я полагаю, что вы такого же мнения об аристократах, как и об аристократишках. Я считаю долгом объявить вам, что я этого мнения не разделяю. Смею сказать, меня все знают за человека либерального и любящего прогресс; но именно потому я уважаю аристократов — настоящих. Вспомните, милостивый государь (при этих словах Базаров поднял глаза на Павла Петровича), вспомните, милостивый государь, — повторил он с ожесточением, — английских аристократов. Они не уступают йоты от прав своих, и потому они уважают права других; они требуют исполнения обязанностей в отношении к ним, и потому они сами исполняют свои обязанности. Аристократия дала свободу Англии и поддерживает ее.

— Слыхали мы эту песню много раз, — возразил Базаров, — но что вы хотите этим доказать?

— Я эфтим хочу доказать, милостивый государь (Павел Петрович, когда сердился, с намерением говорил: «эфтим» и «эфто», хотя очень хорошо знал, что подобных слов грам-

матика не допускает. В этой причуде сказывался остаток преданий Александровского времени. Тогдашние тузы, в редких случаях, когда говорили на родном языке, употребляли одни — эфто, другие — эхто: мы, мол, коренные русаки, и в то же время мы вельможи, которым позволено пренебрегать школьными правилами), я эфтим хочу доказать, что без чувства собственного достоинства, без уважения к самому себе, — а в аристократе эти чувства развиты, — нет никакого прочного основания общественному... *bien public* {общественному благу (франц.)}, общественному зданию. Личность, милостивый государь, — вот главное: человеческая личность должна быть крепка, как скала, ибо на ней все строится. Я очень хорошо знаю, например, что вы изволите находить смешными мои привычки, мой туалет, мою опрятность наконец, но это все проистекает из чувства самоуважения, из чувства долга, да-с, да-с, долга. Я живу в деревне, в глуши, но я не роняю себя, я уважаю в себе человека.

— Позвольте, Павел Петрович, — промолвил Базаров, — вы вот уважаете себя и сидите сложа руки; какая ж от этого польза для *bien public*? Вы бы не уважали себя и то же бы делали.

Павел Петрович побледнел.

— Это совершенно другой вопрос. Мне вовсе не приходится объяснять вам теперь, почему я сижу сложа руки, как вы изволите выражаться. Я хочу только сказать, что аристократизм — принцип, а без принципов жить в наше время могут одни безнравственные или пустые люди. Я говорил это Аркадию на другой день его приезда и повторяю теперь вам. Не так ли, Николай?

Николай Петрович кивнул головой.

— Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы, — говорил между тем Базаров, — подумаешь, сколько иностранных... и бесполезных слов! Русскому человеку они даром не нужны.

— Что же ему нужно, по-вашему? Послушать вас, так мы находимся вне человечества, вне его законов. Помилуйте — логика истории требует...

— Да на что нам эта логика? Мы и без нее обходимся.

— Как так?

— Да так же. Вы, я надеюсь, не нуждаетесь в логике для того, чтобы положить себе кусок хлеба в рот, когда вы голодны. Куда нам до этих отвлеченностей!

Павел Петрович взмахнул руками.

— Я вас не понимаю после этого. Вы оскорбляете русский народ. Я не понимаю, как можно не признавать принципов, правил! В силу чего же вы действуете?

— Я уже говорил вам, дядюшка, что мы не признаем авторитетов, — вмешался Аркадий.

— Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным, — промолвил Базаров.

— В теперешнее время полезнее всего отрицание — мы отрицаем.

— Все?

— Все.

— Как? не только искусство, поэзию... но и... страшно вымолвить...

— Все, — с невыразимым спокойствием повторил Базаров.

Павел Петрович уставился на него. Он этого не ожидал, а Аркадий даже покраснел от удовольствия.

— Однако позвольте, — заговорил Николай Петрович. — Вы все отрицаете, или, выражаясь точнее, вы все разрушаете... Да ведь надобно же и строить.

— Это уже не наше дело... Сперва нужно место расчислить.

— Современное состояние народа этого требует, — с важностью прибавил Аркадий, — мы должны исполнять эти требования, мы не имеем права предаваться удовлетворению личного эгоизма.

Эта последняя фраза, видимо, не понравилась Базарову; от нее веяло философией, то есть романтизмом, ибо Базаров и философию называл романтизмом; но он не почел за нужное опровергать своего молодого ученика.

— Нет, нет! — воскликнул с внезапным порывом Павел Петрович, — я не хочу верить, что вы, господа, точно знаете русский народ, что вы представители его потребностей, его стремлений! Нет, русский народ не такой, каким вы его

воображаете. Он свято чтит предания, он — патриархальный, он не может жить без веры...

— Я не стану против этого спорить, — перебил Базаров, — я даже готов согласиться, что в этом вы правы.

— А если я прав...

— И все-таки это ничего не доказывает.

— Именно ничего не доказывает, — повторил Аркадий с уверенностью опытного шахматного игрока, который предвидел опасный, по-видимому, ход противника и потому несколько не смутился.

— Как ничего не доказывает? — пробормотал изумленный Павел Петрович. — Стало быть, вы идете против своего народа?

— А хоть бы и так? — воскликнул Базаров. — Народ полагает, что когда гром гремит, это Илья-пророк в колеснице по небу разъезжает. Что ж? Мне соглашаться с ним? Да притом — он русский, а разве я сам не русский.

— Нет, вы не русский после всего, что вы сейчас сказали! Я вас за русского признать не могу.

— Мой дед землю пахал, — с надменной гордостью отвечал Базаров. — Спросите любого из ваших же мужиков, в ком из нас — в вас или во мне — он скорее признает соотечественника. Вы и говорить-то с ним не умеете.

— А вы говорите с ним и презираете его в то же время.

— Что ж, коли он заслуживает презрения! Вы порицаете мое направление, а кто вам сказал, что оно во мне случайно, что оно не вызвано тем самым народным духом, во имя которого вы так ратуете?

— Как же! Очень нужны нигилисты!

— Нужны ли они или нет — не нам решать. Ведь и вы считаете себя не бесполезным.

— Господа, господа, пожалуйста, без личностей! — воскликнул Николай Петрович и приподнялся.

Павел Петрович улыбнулся и, положив руку на плечо брату, заставил его снова сесть.

— Не беспокойся, — промолвил он. — Я не позабудусь именно вследствие того чувства достоинства, над которым так жестоко трунит господин... господин доктор. Позвольте, — продолжал он, обращаясь снова к Базарову, — вы, мо-

жет быть, думаете, что ваше учение новость? Напрасно вы это воображаете. Материализм, который вы проповедуете, был уже не раз в ходу и всегда оказывался несостоятельным...

— Опять иностранное слово! — перебил Базаров. Он начинал злиться, и лицо его приняло какой-то медный и грубый цвет. — Во-первых, мы ничего не проповедуем; это не в наших привычках...

— Что же вы делаете?

— А вот что мы делаем. Прежде, в недавнее еще время, мы говорили, что чиновники наши берут взятки, что у нас нет ни дорог, ни торговли, ни правильного суда...

— Ну да, да, вы обличители, — так, кажется, это называется. Со многими из ваших обличений и я соглашаюсь, но...

— А потом мы догадались, что болтать, все только болтать о наших язвах не стоит труда, что это ведет только к пошлости и доктринерству; мы увидали, что и умники наши, так называемые передовые люди и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре и черт знает о чем, когда дело идет о насущном хлебе, когда грубейшее суеверие нас душил, когда все наши акционерные общества лопаются единственно оттого, что оказывается недостаток в честных людях, когда самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке.

— Так, — перебил Павел Петрович, — так: вы во всем этом убедились и решились сами ни за что серьезно не приниматься.

— И решились ни за что не приниматься, — угрюмо повторил Базаров.

Ему вдруг стало досадно на самого себя, зачем он так распространился перед этим барином.

— А только ругаться?

— И ругаться.

— И это называется нигилизмом?

— И это называется нигилизмом, — повторил опять Базаров, на этот раз с особенною дерзостью.

Павел Петрович слегка прищурился.

— Так вот как! — промолвил он странно спокойным голосом. — Нигилизм всему горю помочь должен, и вы, вы наши избавители и герои. Но за что же вы других-то, хоть бы тех же обличителей, честите? Не так же ли вы болтаете, как и все?

— Чем другим, а этим грехом не грешны, — произнес сквозь зубы Базаров.

— Так что ж? вы действуете, что ли? Собираетесь действовать?

Базаров ничего не отвечал. Павел Петрович так и дрогнул, но тотчас же овладел собою.

— Гм!.. Действовать, ломать... — продолжал он. — Но как же это ломать, не зная даже почему?

— Мы ломаем, потому что мы сила, — заметил Аркадий.

Павел Петрович посмотрел на своего племянника и усмехнулся.

— Да, сила — так и не дает отчета, — проговорил Аркадий и выпрямился.

— Несчастный! — возопил Павел Петрович; он решительно не был в состоянии крепиться долее, — хоть бы ты подумал, что в России ты поддерживаешь твоею пошлою сентенцией! Нет, это может ангела из терпения вывести! Сила! И в диком калмыке, и в монголе есть сила — да на что нам она? Нам дорога цивилизация, да-с, да-с, милостивый государь, нам дороги ее плоды. И не говорите мне, что эти плоды ничтожны: последний пачкун, ип *barbouilleur*, тапер, которому дают пять копеек за вечер, и те полезнее вас, потому что они представители цивилизации, а не грубой монгольской силы! Вы воображаете себя передовыми людьми, а вам только в калмыцкой кибитке сидеть! Сила! Да вспомните, наконец, господа сильные, что вас всего четыре человека с половиною, а тех — миллионы, которые не позволят вам попирать ногами свои священнейшие верования, которые раздавят вас!

— Коли раздавят, туда и дорога, — промолвил Базаров. — Только бабушка еще надвое сказала. Нас не так мало, как вы полагаете.

— Как? Вы не шутя думаете сладить, сладить с целым народом?

— От копеечной свечи, вы знаете, Москва сгорела, — ответил Базаров.

— Так, так. Сперва гордость почти сатанинская, потом глумление. Вот, вот чем увлекается молодежь, вот чему покоряются неопытные сердца мальчишек! Вот, поглядите, один из них рядом с вами сидит, ведь он чуть не молится на вас, полюбуйте. (Аркадий отворотился и нахмурился.) И эта зараза уже далеко распространилась. Мне сказывали, что в Риме наши художники в Ватикан ни ногой. Рафаэля считают чуть не дураком, потому что это, мол, авторитет; а сами бессильны и бесплодны до гадости, а у самих фантазия дальше «Девушки у фонтана» не хватает, хоть ты что! И написана то девушка прескверно. По-вашему, они молодцы, не правда ли?

— По-моему, — возразил Базаров. — Рафаэль гроша медного не стоит, да и они не лучше его.

— Bravo! bravo! Слушай, Аркадий... вот как должны современные молодые люди выражаться! И как, подумаешь, им не идти за вами! Прежде молодым людям приходилось учиться; не хотелось им прослыть за невежд, так они поневоле трудились. А теперь им стоит сказать: все на свете вздор! — и дело в шляпе. Молодые люди обрадовались. И в самом деле, прежде они просто были болваны, а теперь они вдруг стали нигилисты.

— Вот и изменило вам хваленое чувство собственного достоинства, — флегматически заметил Базаров, между тем как Аркадий весь вспыхнул и засверкал глазами. — Спор наш зашел слишком далеко... Кажется, лучше его прекратить. А я тогда буду готов согласиться с вами, — прибавил он, вставая, — когда вы представите мне хоть одно постановление в современном нашем быту, в семейном или общественном, которое бы не вызывало полного и беспощадного отрицания.

— Я вам миллионы таких постановлений представлю, — воскликнул Павел Петрович, — миллионы! Да вот хоть община, например.

Холодная усмешка скривила губы Базарова.

— Ну, насчет общины, — промолвил он, — поговорите лучше с вашим братцем. Он теперь, кажется, изведаль на деле, что такое община, круговая порука, трезвость и тому подобные штучки.

— Семья, наконец, семья, так как она существует у наших крестьян! — закричал Павел Петрович.

— И этот вопрос, я полагаю, лучше для вас же самих не разбирать в подробности. Вы, чай, слышали о снохачах? Послушайте меня, Павел Петрович, дайте себе денька два сроку, сразу вы едва ли что-нибудь найдете. Переберите все наши сословия да подумайте хорошенько над каждым, а мы пока с Аркадием будем...

— Надо всем глумиться, — подхватил Павел Петрович.

— Нет, лягушек резать. Пойдем, Аркадий; до свидания, господа. Оба приятеля вышли. Братья остались наедине и сперва только посматривали друг на друга.

— Вот, — начал наконец Павел Петрович, — вот вам нынешняя молодежь! Вот они — наши наследники!

— Наследники, — повторил с унылым вздохом Николай Петрович. Он в течение всего спора сидел как на угольях и только украдкой болезненно взглядывал на Аркадия. — Знаешь, что я вспомнил, брат? Однажды я с покойницей матушкой поссорился: она кричала, не хотела меня слушать... Я наконец сказал ей, что вы, мол, меня понять не можете; мы, мол, принадлежим к двум различным поколениям. Она ужасно обиделась, а я подумал: что делать? Пилюля горька — а проглотить ее нужно. Вот теперь настала наша очередь, и наши наследники могут сказать нам: вы мол, не нашего поколения, глотайте пилюлю.

— Ты уже чересчур благодушен и скромн, — возразил Павел Петрович, — я, напротив, уверен, что мы с тобой гораздо правее этих господчиков, хотя выражаемся, может быть, несколько устарелым языком, *vieilh*, и не имеем той дерзкой самонадеянности... И такая надутая эта нынешняя молодежь! Спросишь иного: какого вина вы хотите, красного

или белого? «Я имею привычку предпочитать красное!» — отвечает он басом и с таким важным лицом, как будто вся вселенная глядит на него в это мгновение...

— Вам больше чаю не угодно? — промолвила Фенечка, просунув голову в дверь: она не решалась войти в гостиную, пока в ней раздавались голоса споривших.

— Нет, ты можешь велеть самовар принять, — отвечал Николай Петрович и поднялся к ней навстречу. Павел Петрович отрывисто сказал ему: bon soir {добрый вечер (франц.)}, и ушел к себе в кабинет.

Критика о романе «Отцы и дети»

Д.И. Писарев:

«...Роман этот, очевидно, составляет вопрос и вызов, обращенный к молодому поколению старшею частью общества. Один из лучших людей старшего поколения, Тургенев, писатель честный, написавший и напечатавший «Записки охотника» задолго до уничтожения крепостного права, Тургенев, говорю я, обращается к молодому поколению и громко предлагает ему вопрос: «Что вы за люди? Я вас не понимаю, я вам не могу и не умею сочувствовать. Вот что я успел подметить. Объясните мне это явление».

Таков настоящий смысл романа. Этот откровенный и честный вопрос пришелся как нельзя более вовремя. Его предлагала вместе с Тургеневым вся старшая половина читающей России.

Этот вызов на объяснение невозможно было отвергнуть. Отвечать на него литературе было необходимо...» *(Д.И. Писарев, статья «Реалисты», 1864 г.)*

Вопросы и задания:

1. Какие обстоятельства личной жизни сформировали мировоззрение будущего писателя?
2. Расскажите о крахе иллюзий писателя и пересмотре своих взглядов на роль народа в стране после трагических событий Французской революции 1848 года.
3. Проследите эволюцию взглядов И.С. Тургенева, сравнив «Записки охотника» с романом «Рудин».

4. *Расскажите о роли идей в жизни и в судьбе героев, основываясь на романах И.С. Тургенева.*
5. *Что влекло Аркадия к Базарову? Как вы оцениваете взаимоотношения этих героев? Произошел ли их разрыв? Как отнесся к этому Базаров? Прав ли он, утверждая, что Аркадий скоро утешится?*
6. *Что общего в описании И.С. Тургеневым любви всех героев романа? Каково значение его рассуждений о любви в эпилоге? Прочитайте стихотворения в прозе И.С.Тургенева и сделайте вывод о понимании писателем места любви в жизни человека.*
7. *Как вы относитесь к утверждению Базарова, что «Каждый человек сам себя воспитать должен»? Справедливо ли утверждение, что герои Тургенева «большие дети событий, чем отцы собственных поступков»?*
8. *Как И.С.Тургенев передает психологию своих героев? На примере нескольких эпизодов раскройте его принцип «Тайной психологии». Почему в романе нет внутренних монологов? Сделайте вывод о своеобразии психологизма в романе И.С.Тургенева.*
9. *Проследите связь романа «Отцы и дети» с «Евгением Онегиным» А.С.Пушкина, «Героем нашего времени» М.Ю. Лермонтова и «Мертвыми душами» Н.В. Гоголя по проблематике и образам, а также по способам раскрытия внутреннего мира героев.*
10. *Кого из героев романа вы видите наиболее явственно? Раскройте мастерство И.С.Тургенева в обрисовке внешности героев.*





МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (1826–1889)



С именем М.Е. Салтыкова-Щедрина связан расцвет русской сатиры во второй половине XIX столетия. Большой художник и глубокий мыслитель, блестящий публицист и литературный критик, талантливый журнальный редактор и организатор молодых творческих сил, он был одним из самых замечательных деятелей русской литературы.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин родился 15 (27) января 1826 года в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. Отец писателя принадлежал к старинному дворянскому роду Салтыковых, к началу XIX века разорившемуся и оскудевшему, мать — к купеческому сословию Забелиных.

Михаил Евграфович не любил вспоминать о своем детстве, так как эти воспоминания окрашивались неизменной горечью: навсегда запомнились слабость и бесхарактерность отца, властолюбие и расчетливость матери.

Юный Салтыков получил блестящее образование сначала в Московском дворянском институте, потом в Царско-сельском лицее. Впервые в печати он выступил в 1841 году. На страницах журнала «Библиотека для чтения» появилось его стихотворение «Лира». Юношеская лирика носила заметные следы подражания Байрону, Гейне, Лермонтову. И Салтыков не любил вспоминать о ней.

По окончании лицея Салтыков был определен на чиновничью службу в канцелярию Военного министерства. В первые годы службы он примкнул к политическому кружку

М.В. Петрашевского. Этого талантливого русского мыслителя он позже называл «многолюбивым и незабвенным другом и учителем». Салтыков разделял антикрепостнические взгляды петрашевцев, с увлечением отдавался спорам о политической жизни России и Западной Европы, об идеале будущего человечества. В деятельности кружка Салтыков обнаружил серьезные изъяны, глубокие противоречия и был убежден, что члены кружка в России лишь присутствуют чисто физически, духовно же они живут во Франции, раздираемой социальными и политическими конфликтами. Свои раздумья, переживания, наблюдения, свои поиски общественной истины молодой писатель художественно воплотил и отразил в повестях «Противоречия» и «Запутанное дело». Они были опубликованы в журнале «Отечественные записки» — первая в 1847 году под псевдонимом М. Непанов, вторая — в 1848 году, подписанная инициалами М.С. Герои этих произведений — «маленькие люди», остро чувствующие социальные противоречия в «больном» русском обществе и ищущие выхода из них. Вскоре литературная деятельность и успешная служба Салтыкова оказались прерванными: под влиянием волнений, охвативших Европу и главным образом Францию в 1848 году, в Петербурге был создан правительственный комитет для усиления полицейско-цензурного надзора за печатью. Комитет в произведениях Салтыкова нашел «вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, потрясших уже всю Западную Европу».

21 апреля 1848 года Салтыков был арестован и отправлен в ссылку на обязательную службу в Вятку. Это изгнание продолжалось около восьми лет. Суровая школа провинциальной жизни явилась для Салтыкова плодотворной и действенной. По долгу службы он исколесил ряд российских губерний, наблюдая быт служилого дворянства и купечества, жизнь работного люда Приуралья и крестьян северных областей России. Он близко узнал трудовой народ, его страдания и нужды. Понятия Салтыкова о русской действительности стали глубже, богаче, конкретнее. И это оказало самое благотворное влияние на его мировоззрение и художественное творчество.

Освобождение из ссылки стало возможным только после смерти Николая I. В начале 1856 года писатель перебрался в Петербург и был принят на службу в Министерство внутренних дел.

Широкую известность Салтыков приобрел «**Губернскими очерками**» (1856–1857). Это произведение, сатирически рисуящее жизнь провинциального общества, писатель считал своим вступлением в литературу. Повествование в «Губернских очерках» ведется от лица чиновника Н. Щедрина, живущего в гуще событий заштатного городка Крутогорска. Под этим псевдонимом произведение и было опубликовано в журнале «Русский вестник». С тех пор он и стал называться М. Салтыков-Щедрин.

Захолустный городок Крутогорск являет собой модель современной писателю российской действительности. Персонажи очерков – чиновники, помещики, купцы, крестьяне, провинциальная интеллигенция – представители основных социальных кругов.

«Губернские очерки» – не просто гневное осмеяние отдельных социальных уродств, а жгучий протест против всей государственной системы.

С 1859 года Салтыков-Щедрин стал публиковаться в «Современнике». Появились циклы рассказов и очерков – «Невинные рассказы», «Сатиры в прозе», принесшие признание широкого читателя и передовой критики. Через три года (в 1862 г.) писатель вошел в состав редакции журнала «Современник». В это время он начинает публикацию очерков из цикла «Помпадуры и помпадурши». Здесь Салтыков-Щедрин впервые широко использовал прием гротескного изображения действительности.

В 1868 году Салтыков-Щедрин ушел со службы в отставку в чине действительного статского советника и с пенсией. С этого времени он целиком посвятил себя литературе. На страницах журнала «Отечественные записки», членом редакции которого стал Салтыков-Щедрин, появились циклы «Письма из провинции» (1868), «Признаки времени» (1868), «Господа ташкентцы» (1869–1872), «Благонамеренные речи» (1872–1876), «В среде умеренности и аккуратности» (1874–1877), «Письма к тетеньке» (1881–1882), сатиричес-

кие романы «Дневник провинциала в Петербурге» (1873), «Современная идиллия» (1877–1883).

Вершиной сатирического творчества Салтыкова-Щедрина является **«История одного города»** (1869–1870).

В центре произведения – сатирическое изображение взаимоотношений народа и власти. По убеждению писателя, бюрократическая власть – следствие гражданской незрелости народа.

В фантастических событиях, происходящих в вымышленном городе Глупове, Салтыков-Щедрин отразил реальные исторические события. Однако сатирик показывает не какой-то узкий отрезок русской истории, он выявляет те ее черты, которые не изменяются с течением времени. В «Истории одного города» Салтыков-Щедрин создает целостный образ России, сатирически освещает извечные коренные пороки государственной и общественной жизни.

Для придания героям и событиям обобщенного смысла писатель прибегает к анахронизмам – смешению времен.

В рассказ архивариуса эпохи XVIII–XIX веков, от лица которого ведется повествование, часто вплетаются факты и события более позднего времени. В образах глуповских градоначальников также воплощаются черты государственных деятелей разных эпох. Не менее причудлив и противоречив образ самого города Глупова: в ходе повествования меняются его местонахождение, иногда он предстает в облике уездного города, иногда видится городом столичным или преобразуется в деревеньку, граничащую с Византийской империей. Эти противоречия объясняются тем, что в образе одного города Салтыков-Щедрин воплотил признаки всех российских городов, деревень и сёл, характерные черты всего государства.

«История одного города» – пародия на официальную историческую монографию: в первой части даётся общий очерк глуповской истории, во второй – описание жизни выдающихся градоначальников.

Галерею глуповских градоначальников открывает Брудастый, у которого вместо мозга действует подобие шарманки, наигрывающей время от времени окрики «Раззорю!» и «Не потерплю!»

У градоначальника Прыща искусственная фаршированная голова, поэтому он не в состоянии управлять городом. Наиболее страшный из всех градоначальников — Угрюм-Бурчеев, воплощающий самую сущность единовластия. В отличие от Прыща, он не пассивный администратор, а деятельный.

Салтыков-Щедрин в «Истории одного города» утверждает, что составным элементом деспотического режима является не только администрация, но и народ, которому свойственны неиссякаемое терпение, покорность, слепая вера в верховную власть. Даже «бунтуют» глуповцы стоя на коленях.

В картинах народной жизни смех сатирика становится горьким, презрение сменяется скрытым сочувствием.

Сатирическое изображение масс — выражение подлинной глубокой любви к родине и народу. Такое изображение, по мнению Салтыкова-Щедрина, должно способствовать пробуждению народного самосознания, развитию политической активности общества, стремлению отстаивать свои права и свободы.

«Господа Головлёвы» (1875—1880). Этот роман писатель назвал «Эпизодами из жизни одной семьи». Но здесь не только семейная хроника, здесь исследование морали общественной системы, основанной на паразитизме господствующих сословий.

Острый и глубокий ум великого сатирика отметил одну из самых ярких черт господствующей идеологии эпохи — вопиющее противоречие между благонамеренным словом и резко расходящимся с ним грязным, циничным делом. Это плодило в человеческих нравах, понятиях, поступках лживость, лицемерие, ханжеское пустословие. «Но разве лицемерие когда-либо и где бы то ни было представляло силу, достаточную для существования общества? Разве лицемерие — не гной, не язва, не гангрена?» — писал Салтыков-Щедрин.

Сюжет и композиция произведения подчинены изображению распада и гибели семьи Головлёвых. Непосредственным виновником этого процесса выступает Порфирий Петрович (Иудушка). Его пустословие оказывает разрушитель-

ное действие: истёртая пословица, примелькавшаяся цитата из молитвы, прописное изречение из народной мудрости — всё это в елейной речи героя выступает скучным и назойливым празднословием, отравляющим живые человеческие чувства.

Имение Головлёвых богатеет. Однако удачливое накопительство не укрепляет семью, а, напротив, становится причиной ее распада. Рушатся родственные связи, отношения приобретают форму презрительного равнодушия, грызни и брани.

Стяжательство — основа социальной природы Порфирия Петровича. Стяжательские устремления он прикрывает лицемерными речами. Проявляя лживую сыновнюю почтительность, Иудушка добивается того, что Арина Петровна помогает ему ограбить брата Степана. Лицемерное слово даёт возможность прибрать к рукам и дубровинское поместье Павла, который хотя и знал, что «глаза Иудушки источают чарующий яд, что голос его, словно змей, заползает в душу и парализует волю человека», но не смог противостоять напористой алчности брата.

Прогрессирующее распространение лицемерия в современной ему России, по убеждению Салтыкова-Щедрина, напрямую связано с процессом упадка, разложения, происходивших в помещичьем сословии после отмены крепостного права. С одной стороны, из дворянских семей в жизнь выплескивалась масса ловких и проворных людей, сумевших приспособиться к новым веяниям. С другой — «дворянские гнезда» выбрасывали в мир множество неудачников, празднословов — и среди них Иудушка. Три поколения Головлёвых гибнут, расплачиваясь за вековое паразитическое существование. В финале романа Порфирий Петрович приходит к мысли о самоубийстве. Осознав ужас своего положения, он ринулся на могилу матери, чтобы там «застыть в воплях смертельной агонии».

Салтыков-Щедрин показал пробуждение человеческого в своем герое. Проснувшаяся совесть заставила Порфирия Головлева по-новому взглянуть на свое мрачное прошлое, остро почувствовать безысходность настоящего, свою обреченность.

Романом «Господа Головлевы» Салтыков-Щедрин расширил представление о сатире, ее объекте, границах, утвердил принципы и формы социально-психологической сатиры.

Сказки (1883–1886). Сказки — итог многолетних жизненных наблюдений писателя. В них воедино сплетается фантастическое и реальное, комическое и трагическое; широко используется гротеск, гипербола (художественное преувеличение), проявляется искусство эзопова языка (аллегорический, иносказательный способ выражения художественной мысли). Обращение сатирика к сказочному жанру имеет ряд причин. К 80-м годам XIX века сатира Салтыкова-Щедрина принимает все более обобщенный характер. В этот период общественное зло проникло во все сферы жизни, растворилось в повседневности, поэтому возникла необходимость в использовании особых сатирических средств, приемов, новых форм изображения, способных укрупнить масштаб художественного осмысления жизни, ее изображения. Сказка позволила Салтыкову-Щедрину придать сатире широкий размах, увидеть за частным общее, за явлениями русской жизни — жизнь всего человечества.

«Единственно плодотворной» для сатиры писатель считал «народную почву», народный взгляд на жизнь, народное представление о добре и зле, правде и кривде, справедливости и вероломстве, трусости и отваге.

Используя отточенную народной мудростью содержание сказок, сатирик освободился от необходимости развернутых характеристик. В народных сказках о животных каждое из них символизирует определенные качества: волк жаден и жесток, лиса хитра и коварна, щука хищна и прожорлива, заяц труслив. Поэтому сказочный тип мышления соответствует самой сути сатирической типизации. Стирание граней между человеческими чертами и чертами животных придавало сказочным образам Салтыкова-Щедрина особую остроту. Вместе с тем это была и новая форма протivoцензурной защиты, позволяющая при помощи эзопова языка беседовать с читателями о самых серьезных, болезненных проблемах.

Условно сказки Салтыкова-Щедрина можно разделить на четыре группы: сатира на господствующее сословие и пра-

вительственные круги; сатира на либеральную интеллигенцию; сказки о народе; сказки, обличающие эгоистическую мораль и утверждающие высокие нравственные идеалы.

К первой группе можно отнести такие, как «Медведь на воеводстве», «Орел-меценат», «Богатырь», «Дикий помещик».

В сказке «Медведь на воеводстве» развертывается беспощадная критика социально-политических изъянов царской России во всех ее формах. Непосредственно это был отклик сатирика на политику самодержавной власти в период ее борьбы с демократическим движением, критика конкретных руководителей реакционных сил. Так, в безграмотных резолюциях Льва («Не верю, штоп сей офицер храпр был; ибо это тот самый Таптыгин, который маво любимова Чижика съел»), современники видели насмешку над грубостью и безграмотностью Александра III. В Осле — главном советчике Льва — Щедрин высмеивает одного из идеологов реакционного курса — Победоносцева, ближайшего друга царя. Портретное сходство — один из элементов сатиры Салтыкова-Щедрина.

В сказке «Медведь на воеводстве» рассказывается о царствовании в лесу в разное время трех воевод-медведей. Они разные по характеру: злого сменяет ретивый, ретивого — добрый. И действуют воеводы по-разному. Топтыгин 2-й, например, по прибытии на «воеводство» первым делом спрашивает подчиненных: «Нет ли в лесу, по крайней мере, университета или хоть академии, дабы их спалить?» Однако смена одного воеводы другим ничего не меняет в общем состоянии лесной жизни. Не случайно про Топтыгина I в сказке говорится: «Он, собственно говоря, не был зол, а так, скотина». Зло заключается не в частных злоупотреблениях отдельных воевод, а в самой звериной природе власти.

Сатира на русскую интеллигенцию развернута в сказках о рыбах и зайцах: «Самоотверженный заяц», «Здравомыслящий заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь». В этих сказках Салтыков-Щедрин высмеивает трусость, приспособленчество, обывательскую психологию. Самоотверженный заяц сидит под кустом согласно волчьей резолюции и думает, что волк его, может быть, со временем и помилует. Умеренно-либеральный, просвещенный и осторожный пре-

мудрый пискарь стремится следовать своим жизненным принципам: «Надо так прожить, чтоб никто и не заметил». Получилось: «жил — дрожал и умирал — дрожал».

Карась-идеалист вступает с щукой в полемику о возможности достижения гармонии мирным путем. Но едва он, осмелев, гаркнул во всю карасью мочь: «Знаешь ли ты, что такое добродетель?» — щука, пораженная такой неслыханной храбростью от удивления разинула рот и нечаянно, «вовсе не желая проглотить карася», съела его. Тема пассивности, покорности, гражданственной незрелости народа прозвучала в сказках «Коняга» и «Кисель».

В образе замученной непосильным трудом и голодом рабочей лошади Салтыков-Щедрин воплотил драму русской крестьянской жизни: «Нет конца работе! Работой исчерпывается весь смысл его существования; для нее он зачат и рожден, вне ее он не только никому не нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб». В форме бытового сюжета народная пассивность обличается в сказке «Кисель».

Образ «киселя», который «был до того размывчив и мягок, что никакого неудобства не чувствовал оттого, что его ели», выражает бездеятельное пассивное переживание людьми векового гнета, вошедшую в плоть и кровь привычку все безропотно терпеть. В этой сказке в полный голос звучит тема послереформенного разорения русской деревни. И «господа» (т.е. помещики) и «свињи» (т.е. новые «хозяева жизни») пожирали «кисель» так нерасчетливо, что «от киселя остались только засохшие поскребушки». В сказках, высмеивающих, бичующих эгоистическую мораль и проповедующих высокие нравственные принципы, подчеркивается мысль о том, что в обществе, где все представления о добре и зле извращены, нормальное становится ненормальным.

Так Иванушку («Дурак») все считают дураком, потому что он не может принять за жизненную норму торжествующий повсюду эгоизм.

Художественные образы сказок Салтыкова-Щедрина настолько масштабны и глубоки, что приложимы для осмысления многих жизненных явлений не только прошлого, но и настоящего.

М.Е. Салтыков-Щедрин умер 10 мая (28 апреля) 1889 года и по завещанию похоронен рядом с И.С. Тургеневым на Волковом кладбище в Петербурге.



Роман
«ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ»

Глава 3
(в сокращении)

СЕМЕЙНЫЕ ИТОГИ

<...> Прошло лет пять со времени переселения Арины Петровны в Погорелку. Иудушка как засел в своем родовом Головлеве, так и не двигается оттуда. Он значительно постарел, вылинял и потускнел, но шильничает, лжет и пустословит еще пуще прежнего, потому что теперь у него почти постоянно под руками добрый друг маменька, которая ради сладкого старушечьего куска сделалась обязательной слушательницей его пустословия.

Не надо думать, что Иудушка был лицемер в смысле, например, Тартюфа или любого современного французского буржуа, соловьем рассыпающегося по части общественных основ. Нет, ежели он и был лицемер, то лицемер чисто русского пошиба, то есть просто человек, лишенный всякого нравственного мерила и не знающий иной истины, кроме той, которая значится в азбучных прописях. Он был невежествен без границ, сутяга, лгун, пустослов и, в довершение всего, боялся черта. Все это такие отрицательные качества, которые отнюдь не могут дать прочного материала для действительного лицемерия. <...>

Итак, Иудушка не столько лицемер, сколько пакостник, лгун и пустослов. Запершись в деревне, он сразу почувствовал себя на свободе, ибо нигде, ни в какой иной сфере, его склонности не могли бы найти себе такого простора, как здесь. В Головлеве он ниоткуда не встречал не только прямого отпора, но даже малейшего косвенного ограничения, которое заставило бы его подумать: вот, дескать, и напакост-

стил бы, да людей совестно. Ничье суждение не беспокоило, ничей нескромный взгляд не тревожил, — следовательно, не было повода и самому себя контролировать. Безграничная неряшливость сделалась господствующею чертою его отношений к самому себе. Давным-давно влекла его к себе эта полная свобода от каких-либо нравственных ограничений, и ежели он еще раньше не переехал на житье в деревню, то единственно потому, что боялся праздности. Проведя более тридцати лет в тусклой атмосфере департамента, он приобрел все привычки и вожделения закоренелого чиновника, не допускающего, чтобы хотя одна минута его жизни оставалась свободною от переливания из пустого в порожнее. Но, взглядевшись в дело пристальнее, он легко пришел к убеждению, что мир делового бездельничества настолько подвижен, что нет ни малейшего труда перенести его куда угодно, в какую угодно сферу. И действительно, как только он поселился в Головлеве, так тотчас же создал себе такую массу пустяков и мелочей, которую можно было не переставая переворачивать, без всякого опасения когда-нибудь исчерпать ее. С утра он садился за письменный стол и принимался за занятия; во-первых, усчитывал скотницу, ключницу, приказчика, сперва на один манер, потом на другой; во-вторых, завел очень сложную отчетность, денежную и материальную: каждую копейку, каждую вещь заносил в двадцати книгах, подводил итоги, то терял полкопейки, то целую копейку лишнюю находил. Наконец брался за перо и писал жалобы к мировому судье и к посреднику. Все это не только не оставляло ни одной минуты праздной, но даже имело все внешние формы усидчивого, непосильного труда. Не на праздность жаловался Иудушка, а на то, что не успевал всего переделать, хотя целый день корпел в кабинете, не выходя из халата. Груды тщательно подшитых, но не обревизованных рапортичек постоянно валялись на его письменном столе, и в том числе целая годовая отчетность скотницы Феклы, деятельность которой с первого раза показалась ему подозрительной и которую он тем не менее никак не мог найти свободную минуту учсть.

Всякая связь с внешним миром была окончательно порвана. Он не получал ни книг, ни газет, ни даже писем. Один

сын его, Володенька, кончил самоубийством, с другим, Петенькой, он переписывался коротко и лишь тогда, когда посылал деньги. Густая атмосфера невежественности, пред-
рассудков и кропотливого переливания из пустого в порож-
нее царила кругом него, и он не ощущал ни малейшего пол-
познновения освободиться от нее.

Даже о том, что Наполеон III уже не царствует, он уз-
нал лишь через год после его смерти, от станowego приста-
ва, но и тут не выразил никакого особенного ощущения,
а только перекрестился, пошептал: «царство небесное!» — и
сказал:

— А как был горд! Фу-ты! Ну-ты! И то нехорошо, и дру-
гое неладно! Цари на поклон к нему ездили, принцы в пе-
редней дежурили! Ан бог-то взял, да в одну минуту все его
мечтания ниспроверг!

Собственно говоря, он не знал даже, что делается у него
в хозяйстве, хотя с утра до вечера только и делал, что считал
да учитывал. В этом отношении он имел все качества зако-
ренелого департаментского чиновника. Представьте себе
столоначальника, которому директор, под веселую руку,
сказал бы: «Любезный друг! для моих соображений необхо-
димо знать, сколько Россия может ежегодно производить
картофеля — так потрудитесь сделать подробное вычисление!»
Встал ли бы в тупик столоначальник перед подобным воп-
росом? Задумался ли бы он, по крайней мере, над приема-
ми, которые предстоит употребить для выполнения заказан-
ной ему работы? Нет, он поступил бы гораздо проще: на-
чертил бы карту России, разлиновал бы ее на совершенно
равные квадратики, доискался бы, какое количество деся-
тин представляет собой каждый квадратик, потом зашел бы
в мелочную лавочку, узнал, сколько сеется на каждую деся-
тину картофеля и сколько средним числом получается, и в
заключение, при помощи божией и первых четырех правил
арифметики, пришел бы к результату, что Россия при бла-
гоприятных условиях может производить картофелю столько-
то, а при неблагоприятных условиях — столько-то. И работа
эта не только удовлетворила бы его начальника, но, навер-
ное, была бы помещена в сто втором томе каких-нибудь
«Трудов».

Даже экономку он выбрал себе как раз подходящую к той обстановке, которую создал. Девица Евпраксия была дочь дьячка при церкви Николы в Капельках и представляла во всех отношениях чистейший клад. Она не обладала ни быстротой соображения, ни находчивостью, ни даже расторопностью, но взамен того была работяща, безответна и не предъявляла почти никаких требований. Даже тогда, когда он «приблизил» ее к себе, — и тут она спросила только: «можно ли ей, когда захочется, кваску холодненького без спросу испить?» — так что сам Иудушка умилился ее бескорыстием и немедленно отдал в ее распоряжение, сверх кваса, две кадушки моченых яблоков, уволив ее от всякой по этим статьям отчетности. Наружность ее тоже не представляла особенной привлекательности для любителя, но в глазах человека неприхотливого и знающего, что ему нужно, была вполне удовлетворительна. Лицо широкое, белое, лоб узкий, обрамленный желтоватыми негустыми волосами; глаза крупные, тусклые, нос совершенно прямой, рот стертый, подернутый тою загадочною, словно куда-то убегающею улыбкой, какую можно встретить на портретах, писанных доморощенными живописцами. Вообще ничего выдающегося, кроме разве спины, которая была до того широка и могуча, что у человека самого равнодушного невольно поднималась рука, чтобы, как говорится, «дать девке раза» между лопаток. И она знала это и не обижалась, так что когда Иудушка в первый раз слегка потрепал ее по жирному загривку, то она только лопатками передернула.

Среди этой тусклой обстановки дни проходили за днями, один как другой, без всяких перемен, без всякой надежды на вторжение свежей струи. Только приезд Арины Петровны несколько оживлял эту жизнь, и надо сказать правду, что ежели Порфирий Владимирыч поначалу морщился, завидев вдали маменькину повозку, то с течением времени он не только привык к ее посещениям, но и полюбил их. Они удовлетворяли его страсти к пустословию, ибо ежели он находил возможным пустословить один на один с самим собою, по поводу разнообразных счетов и отчетов, то пустословить с добрым другом маменькой было для него еще поваднее. Собравшись вмес-

те, они с утра до вечера говорили и не могли наговориться. Говорили обо всем: о том, какие прежде бывали урожаи и какие нынче бывают; о том, как прежде живали помещики и как нынче живут; о том, что соль, что ли, прежде лучше была, а только нет нынче прежнего огурца. <...>

Ноябрь в исходе, земля на неоглядное пространство покрыта белым саваном. На дворе ночь и метелица; резкий, холодный ветер буровит снег, в одно мгновение наматывает сугробы, захлестывает все, что попадет на пути, и всю окрестность наполняет воплем. Село, церковь, ближний лес — все исчезло в снежной мгле, крутящейся в воздухе; старинный головлевский сад могуче гудит. Но в барском доме светло, тепло и уютно. В столовой стоит самовар, вокруг которого собрались: Арина Петровна, Порфирий Владимырьч и Евпраксеюшка. В сторонке поставлен ломберный стол, на котором брошены истрепанные карты. Из столовой открытые двери ведут, с одной стороны, в образную, всю залитую огнем зажженных лампад; с другой — в кабинет барина, в котором тоже теплится лампадка перед образом. В жарко натопленных комнатах душно, пахнет деревянным маслом и чадом самоварного угля. Евпраксея, усевшись против самовара, перебивает чашки и вытирает их полотенцем. Самовар так и заливается; то загудит во всю мочь, то словно засыпать начнет и пронзительно засопит. Клубы пара вырываются из-под крышки и окутывают туманом чайник, уж с четверть часа стоящий на конфорке. Сидящие беседуют. <...>

Столовая опустела, все разошлись по своим комнатам. Дом мало-помалу стихает, и мертвая тишина ползет из комнаты в комнату и наконец доползает до последнего убежища, в котором дольше прочих закоулков упорствовала обрядовая жизнь, то есть до кабинета головлевского барина. Иудушка наконец покончил с поклонами, которые он долго-долго отсчитывал перед образами, и тоже улегся в постель.

Лежит Порфирий Владимырьч в постели, но не может сомкнуть глаз. Чует он, что приезд сына предвещает что-то не совсем обыкновенное, и уже заранее в голове его зарождаются всевозможные пустословные поучения. Поучения эти имеют то достоинство, что они ко всякому случаю пригод-

ны и даже не представляют собой последовательного сцепления мыслей. Ни грамматической, ни синтаксической формы для них тоже не требуется: они накапливаются в голове в виде отрывочных афоризмов и появляются на свет божий по мере того, как наползают на язык. Тем не менее, как только случится в жизни какой-нибудь казус, выходящий из ряда обыкновенных, так в голове поднимается такая суматоха от наплыва афоризмов, что даже сон не может умиротворить ее.

Не спится Иудушке: целые массы пустяков обступили его изголовье и давят его. Собственно говоря, загадочный приезд Петеньки не особенно волнует его, ибо, что бы ни случилось, Иудушка уже ко всему готов заранее. Он знает, что ничто не застанет его врасплох и ничто не заставит сделать какое-нибудь отступление от той сети пустых и насквозь прогнивших афоризмов, в которую он закутался с головы до ног. Для него не существует ни горя, ни радости, ни ненависти, ни любви. Весь мир, в его глазах, есть гроб, могущий служить лишь поводом для бесконечного пустословия. Уж на что было больше горя, когда Володя покончил с собой, а он и тут устоял. Это была очень грустная история, продолжавшаяся целых два года. Целых два года Володя перемогался; сначала выказывал гордость и решимость не нуждаться в помощи отца; потом ослаб, стал молить, доказывать, грозить... И всегда встречал в ответ готовый афоризм, который представлял собой камень, поданный голодному человеку. Сознал ли Иудушка, что это камень, а не хлеб, или не сознал — это вопрос спорный; но, во всяком случае, у него ничего другого не было, и он подавал свой камень, как единственное, что он мог дать. Когда Володя застрелился, он отслужил по нем панихиду, записал в календаре день его смерти и обещал и на будущее время ежегодно 23-го ноября служить панихиду «и с литургиею». Но когда, по временам, даже и в нем поднимался какой-то тусклый голос, который бормотал, что все-таки разрешение семейного спора самоубийством — вещь по малой мере подозрительная, тогда он выводил на сцену целую свиту готовых афоризмов, вроде «бог непокорных детей наказывает», «гордым бог противится» и проч. — и успокоивался.

Вот и теперь. Нет сомнения, что с Петенькой случилось что-то недоброе, но, чтобы ни случилось, он, Порфирий Головлев, должен быть выше этих случайностей. Сам запутался — сам и распутывайся; умел кашу заварить — умей ее и расхлебывать; любишь кататься — люби и саночки возить. Именно так; именно это самое он и скажет завтра, об чем бы ни сообщил ему сын. А что, ежели и Петенька, подобно Володе, откажется принять камень вместо хлеба? Что, ежели и он... Иудушка отплевывается от этой мысли и приписывает ее наваждению лукавого. Он переворачивается с боку на бок, усиливается уснуть и не может. Только что начнет заводить его сон — вдруг: и рад бы до неба достать, да руки коротки! или: по одежке протягивай ножки... вот я... вот ты... прытки вы очень, а знаешь пословицу: поспешность потребна только блох ловить? Обступили кругом пустыки, ползут, лезут, дают. И не спит Иудушка под бременем пустословия, которым он надеется завтра утолить себе душу.

Не спится и Петеньке, хотя дорога порядком-таки изломала его. Есть у него дело, которое может разрешиться только здесь, в Головлеве, но такое это дело, что и невесть как за него взяться. По правде говоря, Петенька отлично понимает, что дело его безнадежное, что поездка в Головлево принесет только лишние неприятности, но в том-то и штука, что есть в человеке какой-то темный инстинкт самосохранения, который пересиливает всякую сознательность и который так и подталкивает: испробуй все до последнего! Вот он и приехал, да, вместо того чтоб закалить себя и быть готовым перенести все, чуть было с первого шагу не разругался с отцом. Что-то будет из этой поездки? совершится ли чудо, которое должно превратить камень в хлеб, или не совершится?

Не прямее ли было бы взять револьвер и приставить его к виску: господа! я недостоин носить ваш мундир! я растратил казенные деньги! и потому сам себе произношу справедливый и строгий суд! Бац — и все кончено! Исключается из списков умерший поручик Головлев! Да, это было бы решительно и... красиво. Товарищи сказали бы: ты был несчастен, ты увлекался, но... ты был благородный человек! Но он, вместо того чтобы сразу поступить таким образом, до-

вел дело до того, что поступок его стал всем известен, — и вот его отпустили на определенный срок с тем, чтобы в течение его растрата была непременно пополнена. А потом — вон из полка. И для достижения этой-то цели, в конце которой стоял позорный исход только что начатой карьеры, он поехал в Головлево, поехал с полной уверенностью получить камень вместо хлеба!

А может быть, что-нибудь и будет?! Ведь случается же... Вдруг нынешнее Головлево исчезнет, и на месте его очутится новое Головлево, с новой обстановкой, в которой он... Не то чтобы отец... умрет — зачем? — а так... вообще, будет новая «обстановка»... А может быть, и бабушка — ведь у ней деньги есть! Узнает, что беда впереди, — и вдруг даст! На, скажет, поезжай скорее, покуда срок не прошел! И вот он едет, торопит ямщиков, насилу поспекает на станцию — и является в полк как раз за два часа до срока! Молодец Головлев! — говорят товарищи, — руку, благородный молодой человек! и пусть отныне все будет забыто! И он не только остается в полку по-прежнему, но производится сначала в штабс-капитаны, потом в капитаны, делается полковым адъютантом (казначеем он уж был), и, наконец, в день полкового юбилея...

Ах! поскорее бы эта ночь прошла! Завтра... ну, завтра пусть будет, что будет! Но что он должен будет завтра выслушать... ах, чего только он не выслушает! Завтра... но для чего же завтра? ведь есть и еще целый день впереди... Ведь он выговорил себе два дня собственно для того, чтобы иметь время убедить, растрогать... Черта с два! убедишь тут, растрогаешь! Нет уж...

Тут мысли его окончательно путаются и постепенно, одна за другой, утопают в сонной мгле. Через четверть часа головлевская усадьба всецело погружается в тяжкий сон.

На другой день, рано утром, весь дом уже на ногах. Все поехали в церковь, кроме, впрочем, Петеньки, который остался дома под предлогом, что устал с дороги. Наконец отслушали обедню и панихиду и воротились домой. Петенька, по обыкновению, подошел к руке отца, но Иудушка подал руку боком, и все заметили, что он даже не перекрестил сына. Напились чаю, поели поминальной кутьи; Иудушка ходил

мрачный, шаркал ногами, избегал разговоров, вздыхал, беспрестанно складывал руки, в знак умной молитвы, и совсем не глядел на сына. С своей стороны, и Петенька ежился и молча курил папироску за папироской. Вчерашнее натянутое положение не только не улучшилось за ночь, но приняло такие резкие тоны, что Арина Петровна серьезно обеспокоилась и решила разведать у Евпраксеюшки, не случилось ли чего-нибудь.

— Что такое сделалось? — спросила она, — что они с утра словно вороги друг на друга смотрят?

— А я почему знаю? разве я в ихние дела вхожу! — отгрызнулась Евпраксея.

— Уж не ты ли? Может, и внучек к тебе пристаёт?

— Чего ко мне приставать! Просто давеча подкараулил меня в коридоре, а Порфирий Владимирович и увидели!

— Н-да, так вот оно что!

И действительно, несмотря на крайность своего положения, Петенька отнюдь не оставил присущего ему легкомыслия. И он тоже загляделся на могучую спину Евпраксеюшки и решил ей высказать это. С этою собственно целью он и в церковь не поехал, надеясь, что и Евпраксея, в качестве экономки, останется дома. И вот, когда в доме все стихло, он накинул на плечи шинель и притаился в коридоре. Прошла минута, другая, хлопнула дверь, ведущая из сеней в девичью, и в конце коридора показалась Евпраксея, держа в руках поднос, на котором лежал теплый сдобный крендель к чаю. Но не успел еще Петенька вытянуть ее хорошенько между лопатками, не успел произнести: вот это так спина! — как дверь из столовой отворилась, и в ней показался отец.

— Ежели ты сюда пакостничать, мерзавец, приехал, так я тебя с лестницы велю сбросить! — произнес Иудушка каким-то бесконечно злым голосом.

Разумеется, Петенька в один момент ступешался.

Он не мог, однако ж, не понять, что утреннее происшествие было не из таких, чтобы благоприятно подействовать на его фонды. Поэтому он решил молчать и отложить объяснение до завтра. Но в то же время он не только ничего не делал, чтоб унять раздражение отца, но, напротив того, вел

себя самым неосмотрительным и дурацким образом. Не переставая курил папироски, не обращая никакого внимания на то, что отец усиленно отмахивался от облаков дыма, которыми он наполнил комнату. Затем поминутно кидал умильно-дурацкие взоры на Евпраксеюшку, которая под влиянием их как-то вкось улыбалась, что тоже замечал Иудушка.

День потянулся вяло. Попробовала было Арина Петровна в дураки с Евпраксеюшкой сыграть, но ничего из этого не вышло. Не игралось, не говорилось, даже пустяки как-то не шли на ум, хотя у всех были в запасе целые непочатые углы этого добра. Насилу пришел обед, но и за обедом все молчали. После обеда Арина Петровна собралась было в Погорелку, но Иудушку даже испугало это намерение доброго друга маменьки.

— Христос с вами, голубушка! — воскликнул он, — что ж, одного, что ли, вы меня оставить хотите, с глазу на глаз с этим... дурным сыном? Нет, нет! и не думайте! не пуцу!

— Да что такое? случилось, что ли, что-нибудь промежду вас! сказывай! — спросила она его.

— Нет, покамест еще ничего не случилось, но вы увидите... Нет, вы уж не оставьте меня! пусть уж при вас... Это недаром! недаром он прикатил... Так если что случится — уж вы будьте свидетельницей!

Арина Петровна покачала головой и решила остаться.

После обеда Порфирий Владимырьч удалился спать, услав предварительно Евпраксеюшку на село к попу; Арина Петровна, отложив отъезд в Погорелку, тоже ушла в свою комнату и, усевшись в кресло, дремала. Петенька счел это время самым благоприятным, чтоб попытать счастья у бабушки, и отправился к ней.

— Что ты? в дурачки, что ли, с старухой поиграть пришел? — встретила его Арина Петровна.

— Нет, бабушка, я к вам за делом.

— Ну, рассказывай, говори.

Петенька с минуту помялся на месте и вдруг брякнул:

— Я, бабушка, казенные деньги проиграл.

У Арины Петровны даже в глазах потемнело от неожиданности.

— И много? — спросила она перепуганным голосом, глядя на него остановившимися глазами.

— Три тысячи.

Последовала минута молчания; Арина Петровна беспокойно смотрела из стороны в сторону, точно ждала, не явится ли откуда к ней помощь.

— А ты знаешь ли, что за это и в Сибирь недолго попасть? — наконец произнесла она.

— Знаю.

— Ах, бедный ты, бедный!

— Я, бабушка, у вас хотел взаймы попросить... я хороший процент заплачу.

Арина Петровна совсем испугалась.

— Что ты, что ты! — заметалась она, — да у меня и денег только на гроб да на поминовенье осталось! И сыта я только по милости внучек, да вот чем у сына полакомлюсь! Нет, нет, нет! Ты уж меня оставь! Сделай милость, оставь! Знаешь что, ты бы у папеньки попросил!

— Нет, уж что! от железного попа да каменной просвиры ждать! Я, бабушка, на вас надеялся!

— Что ты! что ты! да я бы с радостью, только какие же у меня деньги! и денег у меня таких нет! А ты бы к папеньке обратился, да с лаской, да с почтением! вот, мол, папенька, так и так: виноват, мол, по молодости, про штрафился... Со смешком да с улыбочкой, да ручку поцелуй, да на коленки встань, да поплачь — он это любит, — ну и развяжет папенька кошину для милого сынка.

— А что вы думаете! сделать разве? Стойте-ка! стойте! а что, бабушка, если б вы ему сказали: коли не дашь денег — прокляну! Ведь он этого давно боится, проклятья-то вашего.

— Ну, ну, зачем проклипать! Попроси и так. Попроси, мой друг! Ведь ежели отцу и лишний разок поклонись, так ведь голова не отвалится: отец он! Ну, и он с своей стороны увидит... сделай-ка это! право!

Петенька ходит подбоченившись взад и вперед, словно обдумывает; наконец останавливается и говорит:

– Нет уж. Все равно – не даст. Что бы я ни делал, хоть бы лоб себе разбил кланявшись – все одно не даст. Вот кабы вы проклятием пригрозили... Так как же мне быть-то, бабушка?

– Не знаю, право. Попробуй – может, и смягчишь. Как же ты это, однако ж, такую себе волю дал: легко ли дело, казенные деньги проиграл? научил тебя, что ли, кто-нибудь?

– Так вот, взял да и проиграл. Ну, коли у вас своих денег нет, так из сиротских дайте!

– Что ты? опомнись! как я могу сиротские деньги давать? Нет, уж сделай милость, уволь ты меня! не говори ты со мной об этом, ради Христа!

– Так не хотите? Жаль. А я бы хороший процент дал. Пять процентов в месяц хотите? нет? ну, через год капитал на капитал?

– И не соблазняй ты меня! – замахала на него руками Арина Петровна, – уйди ты от меня, ради Христа! еще папенька неравно? услышит, скажет, что я же тебя возмутила! Ах ты, господи! Я, старуха, отдохнуть хотела, даже задремала совсем, а он вон с каким делом пришел!

– Ну, хорошо. Я уйду. Стало быть, нельзя? Прекрасно-с. По-родственному. Из-за трех тысяч рублей внук в Сибирь должен пойти! Напутственный-то молебен отслужить не забудьте!

Петенька хлопнул дверью и ушел. Одна из его легкомысленных надежд лопнула – что теперь предпринять? Остается одно: во всем открыться отцу. А может быть... Может быть, что-нибудь...

«Пойду сейчас и покончу разом! – говорил он себе, – или нет! Нет, зачем же сегодня... Может быть, что-нибудь... да, впрочем, что же такое может быть? Нет, лучше завтра... Все-таки, хоть нынче день... Да, лучше завтра. Скажу – и уеду».

На том и покончил, что завтра – всему конец...

После объяснения с бабушкой вечер потянулся еще вялее. Даже Арина Петровна притихла, узнавши действительную причину приезда Петеньки. Иудушка пробовал было заигрывать с маменькой, но, видя, что она об чем-то задумывается, замолчал. Петенька тоже ничего не делал, только

курил. За ужином Порфирий Владимирыч обратился к нему с вопросом:

— Да скажешь ли ты наконец, зачем ты сюда пожаловал?

— Завтра скажу, — угрюмо ответил Петенька.

Петенька встал рано после почти совсем бессонной ночи. Все та же раздвоенная мысль преследовала его — мысль, начинавшаяся надеждой: может быть, и даст! и неизменно кончавшаяся вопросом: и зачем я сюда приехал? Может быть, он не понимал своего отца, но, во всяком случае, он не знал за ним ни одного чувства, ни одной слабой струны, за которую предстояла бы возможность ухватиться и эксплуатировав которую можно было бы чего-нибудь достигнуть. Он чувствовал только одно: что в присутствии отца он находится лицом к лицу с чем-то неизъяснимым, неуловимым. Незнание, с какого конца подойти, с чего начать речь, порождало ежели не страх, то, во всяком случае, беспокойство. И так шло с самого детства. Всегда, с тех пор как он начал себя помнить, дело было поставлено так, что лучше казалось совсем отказаться от какого-нибудь предположения, нежели поставить его в зависимость от решения отца. Так было и теперь. С чего он начнет? как начнет? что скажет?.. Ах, зачем только он приехал?

Им овладела тоска. Тем не менее он понял, что впереди оставалось только несколько часов и что, следовательно, надо же что-нибудь делать. Набравшись напускной решимости, застегнувши сюртук и пошептавши что-то на ходу, он довольно твердым шагом направился к отцовскому кабинету.

Иудушка стоял на молитве. Он был набожен и каждый день охотно посвящал молитве несколько часов. Но он молился не потому, что любил бога и надеялся посредством молитвы войти в общение с ним, а потому, что боялся черта и надеялся, что бог избавит его от лукавого. Он знал множество молитв, и в особенности отлично изучил технику молитвенного стояния. То есть знал, когда нужно шевелить губами и закатывать глаза, когда следует складывать руки ладонями внутрь и когда держать их воздетыми, когда надлежит умиляться и когда стоять чинно, творя умеренные крестные знамения. И глаза и нос его краснели и увлажня-

лись в определенные минуты, на которые указывала ему молитвенная практика. Но молитва не обновляла его, не просветляла его чувства, не вносила никакого луча в его тусклое существование. Он мог молиться и проделывать все нужные телодвижения — и в то же время смотреть в окно и замечать, не идет ли кто без спросу в погреб и т. д. Это была совершенно особенная, частная формула жизни, которая могла существовать и удовлетворять себя совсем независимо от общей жизненной формулы.

Когда Петенька вошел в кабинет, Порфирий Владимирыч стоял на коленях с воздетыми руками. Он не переменил своего положения, а только подрыгал одной рукой в воздухе, в знак того, что еще не время. Петенька расположился в столовой, где уже был накрыт чайный прибор, и стал ждать. Эти полчаса показались ему вечностью, тем более что он был уверен, что отец заставляет его ждать нарочно. Напускная твердость, которою он вооружился, мало-помалу стала уступать место чувству досады. Сначала он сидел смирно, потом принялся ходить взад и вперед по комнате, и, наконец, стал что-то насвистывать, вследствие чего дверь кабинета приотворилась, и оттуда послышался раздраженный голос Иудушки:

— Кто хочет свистать, тот может для этого на конюшню идти!

Немного погодя Порфирий Владимирыч вышел, одетый весь в черном, в чистом белье, словно приготовленный к чему-то торжественному. Лицо у него было светлое, умиленное, дышащее смирением и радостью, как будто он сейчас только «сподобился». Он подошел к сыну, перекрестил и поцеловал его.

— Здравствуй, друг! — сказал он.

— Здравствуйте!

— Каково почивал? постельку хорошо ли постлали? клопиков, блошек не чувствовал ли?

— Благодарю вас. Спал.

— Ну, спал — так и слава богу. У родителей только и можно слатенько поспать. Это уж я по себе знаю: как ни хорошо, бывало, устроишься в Петербурге, а никогда так сладко не уснешь, как в Головлеве. Точно вот в колыбельке тебя по-

качивает. Так как же мы с тобой: попьем чайку, что ли, сначала, или ты сейчас что-нибудь сказать хочешь?

— Нет, лучше теперь поговорим. Мне через шесть часов уехать надо, так, может быть, и обдумать кой-что время понадобится.

— Ну, ладно. Только я, брат, говорю прямо: никогда я не обдумываю. У меня всегда ответ готов. Коли ты правильного чего просишь — изволь! никогда я ни в чем правильном не откажу. Хоть и трудненько иногда, и не по силам, а ежели правильно — не могу отказать! Натура такая. Ну, а ежели просишь неправильно — не прогневайся! Хоть и жалко тебя — а откажу! У меня, брат, вывертов нет! Я весь тут, на ладони. Ну, пойдем, пойдем в кабинет! Ты поговоришь, а я послушаю! Послушаем, послушаем, что такое!

Когда оба вошли в кабинет, Порфирий Владимырьч оставил дверь слегка приотворенною и затем ни сам не сел, ни сына не посадил, а начал ходить взад и вперед по комнате. Словно он инстинктивно чувствовал, что дело будет щекотливое и что объясняться об таких предметах на ходу гораздо свободнее. И выражение лица скрыть удобнее, и прекратить объяснение, ежели оно примет слишком неприятный оборот, легче. А с помощью приотворенной двери и на свидетелей можно сослаться, потому что маменька с Евпраксеюшкой, наверное, не замедлят явиться к чаю в столовую.

— Я, папенька, казенные деньги проиграл, — разом и как-то тупо высказался Петенька.

Иудушка ничего не сказал. Только можно было заметить, как дрогнули у него губы. И вслед за тем он, по обыкновению, начал шептать.

— Я проиграл три тысячи, — пояснил Петенька, — и ежели послезавтра их не внесу, то могут произойти очень неприятные для меня последствия.

— Что ж, внеси! — любезно молвил Порфирий Владимырьч.

Несколько туров отец и сын сделали молча. Петенька хотел объясняться дальше, но чувствовал, что у него захватило горло.

— Откуда же я возьму деньги? — наконец выговорил он.

— Я, любезный друг, твоих источников не знаю. На какие ты источники рассчитывал, когда проигрывал в карты казенные деньги, — из тех и плати.

— Вы сами очень хорошо знаете, что в подобных случаях люди об источниках забывают!

— Ничего я, мой друг, не знаю. Я в карты никогда не игрывал — только вот разве с маменькой в дурачки сыграешь, чтоб потешить старушку. И, пожалуйста, ты меня в эти грязные дела не впутывай, а пойдем-ка лучше чайку попьем. Попьем да посидим, может, и поговорим об чем-нибудь, только уж, ради Христа, не об этом.

И Иудушка направился было к двери, чтобы юркнуть в столовую, но Петенька остановил его.

— Позвольте, однако ж, — сказал он, — надобно же мне как-нибудь выйти из этого положения!

Иудушка усмехнулся и посмотрел Петеньке в лицо.

— Надо, голубчик! — согласился он.

— Так помогите же!

— А это... это уж другой вопрос. Что надобно как-нибудь выйти из этого положения — это так, это ты правду сказал. А как выйти — это уж не мое дело!

— Но почему же вы не хотите помочь?

— А потому, во-первых, что у меня нет денег для покрытия твоих дрянных дел, а во-вторых — и потому, что вообще это до меня не касается. Сам напутал — сам и выпутывайся. Любишь кататься — люби и саночки возить. Так-то, друг. Я ведь и давеча с того начал, что ежели ты просишь правильно...

— Знаю, знаю. Много у вас на языке слов...

— Постой, попридержи свои дерзости, дай мне досказать. Что это не одни слова — это я тебе сейчас докажу... Итак, я тебе давеча сказал: если ты будешь просить должного, дельного — изволь, друг! всегда готов тебя удовлетворить! Но ежели ты приходишь с просьбой не дельною — извини, брат! На дрянные дела у меня денег нет, нет и нет! И не будет — ты это знай! И не смей говорить, что это одни «слова», а понимай, что эти слова очень близко граничат с делом.

— Подумайте, однако ж, что со мной будет!

— А что богу угодно, то и будет, — отвечал Иудушка, слегка воздевая руки и искоса поглядывая на образ.

Отец и сын опять сделали несколько туров по комнате. Иудушка шел нехотя, словно жаловался, что сын держит его в плену. Петенька, подбоченившись, следовал за ним, кусая усы и нервно усмехаясь.

— Я — последний сын у вас, — сказал он, — не забудьте об этом!

— У Иова, мой друг, бог и все взял, да он не роптал, а только сказал: бог дал, бог и взял — твори, господи, волю свою! Так-то, брат!

— То бог взял, а вы сами у себя отнимаете. Володя...

— Ну, ты, кажется, пошлости начинаешь говорить!

— Нет, это не пошлости, а правда. Всем известно, что Володя...

— Нет, нет, нет! Не хочу я твои пошлости слушать! Да и вообще — довольно. Что надо было высказать, то ты высказал. Я тоже ответ тебе дал. А теперь пойдем и будем чай пить. Посидим да поговорим, потом поедем, выпьем на прощанье — и с богом. Видишь, как бог для тебя милостив! И погодка унялась, и дорожка поглаже стала. Полегоньку да помаленьку, трюх да трюх — и не увидишь, как доплетешься до станции!

— Послушайте! наконец, я прошу вас! ежели у вас есть хоть капля чувства...

— Нет, нет, нет! не будем об этом говорить! Пойдем в столовую: маменька, поди, давно без чаю соскучилась. Не годится старушку заставлять ждать.

Иудушка сделал крутой поворот и почти бегом направился к двери.

— Хоть уходите, хоть не уходите, я этого разговора не оставлю! — крикнул ему вслед Петенька, — хуже будет, как при свидетелях начнем разговаривать!

Иудушка воротился назад и встал прямо против сына.

— Что тебе от меня, негодяй, нужно... сказывай! — спросил он возмущенным голосом.

— Мне нужно, чтоб вы заплатили те деньги, которые я проиграл.

— Никогда!!

– Так это ваше последнее слово?

– Видишь? – торжественно воскликнул Иудушка, указывая пальцем на образ, висевший в углу, – это видишь? Это папенькино благословение... Так вот я при нем тебе говорю: никогда!!

И он решительным шагом вышел из кабинета.

– Убийца! – пронеслось вдогонку ему.

Арина Петровна сидит уже за столом, и Евпраксеюшка делает все приготовления к чаю. Старуха задумчива, молчалива и даже как будто стыдится Петеньки. Иудушка, по обычаю, подходит к ее ручке, и, по обычаю же, она машинально крестит его. Потом, по обычаю, идут вопросы, все ли здоровы, хорошо ли почивали, на что следуют обычные односложные ответы.

Уже накануне вечером она была скучна. С тех пор как Петенька попросил у нее денег и разбудил в ней воспоминание о «проклятии», она вдруг впала в какое-то загадочное беспокойство, и ее неотступно начала преследовать мысль: а что, ежели проклянута? Узнавши утром, что в кабинете началось объяснение, она обратилась к Евпраксеюшке с просьбой:

– Поди-ка, сударка, подслушай потихоньку у дверей, что они там говорят!

Но Евпраксеюшка хотя и подслушала, но была настолько глупа, что ничего не поняла.

– Так, промежду себя разговаривают! Не очень кричат! – объяснила она, возвратившись.

Тогда Арина Петровна не вытерпела и сама отправилась в столовую, куда тем временем и самовар был уже подан. Но объяснение уж приходило к концу; слышала она только, что Петенька возвышает голос, а Порфирий Владимирович словно зудит в ответ.

– Зудит! именно зудит! – вертелось у нее в голове, – вот и тогда он так же зудел! и как это я в то время не поняла!

Наконец оба, и отец и сын, появились в столовую. Петенька был красен и тяжело дышал; глаза у него смотрели широко, волосы на голове растрепались, лоб был усеян мелкими каплями пота. Напротив, Иудушка вошел бледный и злой; хотел казаться равнодушным, но, несмотря на все усилия, нижняя губа его дрожала. Насилу

мог он выговорить обычное утреннее приветствие милому другу маменьке.

Все заняли свои места вокруг стола; Петенька сел несколько поодаль, отвалился на спинку стула, положил ногу на ногу и, закуривая папироску, иронически посматривал на отца.

— Вот, маменька, и погода у нас унялась, — начал Иудушка, — какое вчера смятение было, ан богу стоило только захотеть — вот у нас тишь да гладь да божья благодать! так ли, друг мой?

— Не знаю; не выходила я из дому сегодня.

— А мы кстати дорогого гостя провожаем, — продолжал Иудушка, — я давеча еще где-где встал, посмотрел в окно — ан на дворе тихо да спокойно, точно вот ангел божий пролетел и в одну минуту своим крылом все это возмущение умирил!

Но никто даже не ответил на ласковые Иудушкины слова; Евпраксеюшка шумно пила с блюдечка чай, дуя и отфыркиваясь; Арина Петровна смотрела в чашку и молчала; Петенька, раскачиваясь на стуле, продолжал посматривать на отца с таким иронически вызывающим видом, точно вот ему больших усилий стоит, чтоб не прыснуть со смеха.

— Теперича, ежели Петенька и не шибко поедет, — опять начал Порфирий Владимырьч, — и тут к вечеру легко до станции железной дороги поспеет. Лошади у нас свои, не мученные, часика два в Муравьеве покормят — мигом домчат. А там — фиюю! пошла машина погромыхивать! Ах, Петька! Петька! недобрый ты! остался бы ты здесь с нами, погостил бы — право! И нам было бы веселее, да и ты бы — смотри, как бы ты здесь в одну неделю поправился!

Но Петенька все продолжает раскачиваться на стуле и посматривать на отца.

— Ты что на меня все смотришь? — закипает наконец Иудушка, — узоры, что ли, видишь?

— Смотрю, жду, что еще от вас будет!

— Ничего, брат, не высмотришь! как сказано, так и будет. Я своего слова не изменю!

Наступает минута молчания, в продолжение которой явственно раздается шепот:

— Иудушка!

Порфирий Владимырьч несомненно слышал эту апостофу (он даже побледнел), но делает вид, что восклицание до него не относится.

— Ах, детки, детки! — говорит он, — и жаль вас, и хотелось бы приласкать да приголубить вас, да, видно, нечего делать — не судьба! Сами вы от родителей бежите, свои у вас завелись друзья-приятели, которые дороже для вас и отца с матерью. Ну, и нечего делать! Подумаешь-подумаешь — и покоришься. Люди вы молодые, а молодому, известно, приятнее с молодым побыть, чем со стариком-ворчуном! Вот и смиряешь себя, и не ропщешь; только и просишь отца небесного: твори, господи, волю свою!

— Убийца! — вновь шепчет Петенька, но уже так явственно, что Арина Петровна со страхом смотрит на него. Перед глазами ее что-то вдруг пронеслось, словно тень Степки-балбеса.

— Ты про кого это говоришь? — спрашивает Иудушка, весь дрожа от волнения.

— Так, про одного знакомого.

— То-то! так ты так и говори! Ведь бог знает, что у тебя на уме: может быть, ты из присутствующих кого-нибудь так честишь!

Все смолкают; стаканы с чаем стоят нетронутыми. Иудушка тоже откидывается на спинку стула и нервно покачивается. Петенька, видя, что всякая надежда потеряна, ощущает что-то вроде предсмертной тоски и под влиянием ее готов идти до крайних пределов. И отец и сын с какою-то неизъяснимою улыбкой смотрят друг другу в глаза. Как ни высколил себя Порфирий Владимырьч, но близится минута, когда и он не в состоянии будет сдерживаться.

— Ты бы лучше за добра ума уехал! — наконец высказывается он, — да!

— И то уеду.

— Чего ждатель-то! Я вижу, что ты на ссору лезешь, а я ни с кем ссориться не хочу. Живем мы здесь тихо да смирно, без ссор да без свар — вот бабушка-старушка здесь сидит, хоть бы ее ты посовестился! Ну, зачем ты к нам приехал?

— Я вам говорил зачем.

— А коли затем только, так напрасно трудился. Уезжай, брат! Эй, кто там? велите-ка для молодого барина кибитку закладывать. Да цыпленочка жареного, да икорки, да еще там чего-нибудь... яичек, что ли... в бумажку заверните. На станции, брат, и закусишь, покуда лошадей подкормят. С богом!

— Нет! я еще не поеду. Я еще в церковь пойду, попрошу панихиду по убиенном рабе божем, Владимире, отслужить.

— По самоубийце, то есть...

— Нет, по убиенном.

Отец и сын смотрят друг на друга во все глаза. Так и кажется, что оба сейчас вскочат. Но Иудушка делает над собой нечеловеческое усилие и оборачивается со стулом лицом к столу.

— Удивительно! — говорит он надорванным голосом, — у-ди-ви-тель-но!

— Да, по убиенном! — грубо настаивает Петенька.

— Кто же его убил? — любопытствует Иудушка, по-видимому, все-таки надеясь, что сын опомнится.

Но Петенька, нимало не смущаясь, выпаливает как из пушки:

— Вы!!

— Я?!

Порфирий Владимырьч не может прийти в себя от изумления. Он торопливо поднимается со стула, обращается лицом к образу и начинает молиться.

— Вы! вы! вы! — повторяет Петенька.

— Ну вот! ну, слава богу! вот теперь полегче стало, как помолился! — говорит Иудушка, вновь присаживаясь к столу, — ну, постой! погоди! хоть мне, как отцу, можно было бы и не входить с тобой в объяснения, — ну, да уж пусть будет так! Стало быть, по-твоему, я убил Володеньку?

— Да, вы!

— А по-моему, это не так. По-моему, он сам себя застрелил. Я в то время был здесь, в Головлеве, а он — в Петербурге. При чем же я тут мог быть? как мог я его за семьсот верст убить?

— Уж будто вы и не понимаете?

— Не понимаю... видит бог, не понимаю!

— А кто Володю без копейки оставил? кто ему жалованье прекратил? кто?

— Те-те-те! так зачем он женился против желанья отца?

— Да ведь вы же позволили?

— Кто? я? Христос с тобой! Никогда я не позволял! Нни-когда!

— Ну да, то есть вы и тут по своему обыкновению поступили. У вас ведь каждое слово десять значений имеет; пойдди угадывай!

— Никогда я не позволял! Он мне в то время написал: хочу, папа, жениться на Лидочке. Понимаешь: «хочу», а не «прошу позволения». Ну, и я ему ответил: коли хочешь жениться, так женись, я препятствовать не могу! Только всего и было.

— Только всего и было, — поддразнивает Петенька, — а разве это не позволение?

— То-то, что нет. Я что сказал? я сказал: не могу препятствовать — только и всего. А позволяю или не позволяю — это другой вопрос. Он у меня позволения и не просил, он прямо написал: хочу, папа, жениться на Лидочке — ну, и я насчет позволения умолчал. Хочешь жениться — ну, и Христос с тобой! женись, мой друг, хоть на Лидочке, хоть на разлидочке — я препятствовать не могу!

— А только без куска хлеба оставить можете. Так вы бы так и писали: не нравится, дескать, мне твое намерение, а потому, хоть я тебе не препятствую, но все-таки предупреждаю, чтоб ты больше не рассчитывал на денежную помощь от меня. По крайней мере, тогда было бы ясно.

— Нет, этого я никогда не позволю себе сделать! Чтоб я стал употреблять в дело угрозы совершеннолетнему сыну — никогда!! У меня такое правило, что я никому не препятствую! Захотел жениться — женись! Ну, а насчет последствий — не погневайся! Сам должен был предусматривать — на то и ум тебе от бога дан. А я, брат, в чужие дела не вмешиваюсь. И не только сам не вмешиваюсь, да не прошу, чтоб и другие в мои дела вмешивались. Да, не прошу, не прошу, не прошу, и даже... запрещаю! Слышишь ли, дурной, непочтительный сын, — за-пре-щаю!

— Запрещайте, пожалуй! всем ртов не замажете!

— И хоть бы он раскаялся! хоть бы он понял, что отца обидел! Ну, сделал пошлость — ну, и раскайся! Попроси прощения! простите, мол, душенька папенька, что вас огорчил! А то на-тко!

— Да ведь он писал вам; он объяснял, что ему жить нечем, что дольше ему терпеть нет сил...

— С отцом не объясняются-с. У отца прощения просят — вот и все.

— И это было. Он так был измучен, что и прощения просил. Все было, все!

— А хоть бы и так — опять-таки он не прав. Попросил раз прощения, видит, что папа не прощает, — и в другой раз попроси!

— Ах, вы!

Сказавши это, Петенька вдруг перестает качаться на стуле, оборачивается к столу и облокачивается на него обеими руками.

— Вот и я... — чуть слышно произносит он.

Лицо его постепенно искажается.

— Вот и я... — повторяет он, разражаясь истерическими рыданиями.

— А кто ж вино...

Но Иудушке не удалось покончить свое поучение, ибо в эту самую минуту случилось нечто совершенно неожиданное. Во время описанной сейчас перестрелки об Арине Петровне словно позабыли. Но она отнюдь не оставалась равнодушной зрительницей этой семейной сцены. Напротив того, с первого же взгляда можно было заподозрить, что в ней происходит что-то не совсем обыкновенное и что, может быть, настала минута, когда перед умственным ее оком предстали во всей полноте и наготе итоги ее собственной жизни.

Лицо ее оживилось, глаза расширились и блестели, губы шевелились, как будто хотели сказать какое-то слово — и не могли. И вдруг, в ту самую минуту, когда Петенька огласил столовую рыданиями, она грузно поднялась с своего кресла, протянула вперед руку, и из груди ее вырвался вопль:

— Прро-кли-ннаааю!

Вопросы и задания:

1. Назовите основные циклы очерков М.Е. Салтыкова-Щедрина. Чем ваш обусловлен особый интерес писателя к жанру очерка?
2. Назовите главную проблему сатиры «История одного города».
3. Раскройте сатирический смысл приемов «смещения времен» и гротеска.
4. Почему объектом изображения в романе «Господа Головлевы» избрана семья помещиков?
5. Что нового в развитие сатиры внес Салтыков-Щедрин романом «Господа Головлевы»?
6. Чем можно объяснить обращение Салтыкова-Щедрина к жанру сказки? Какие возможности перед ним открывал этот жанр?
7. Назовите основные темы сказок Салтыкова-Щедрина. Какими приемами пользуется писатель в целях создания сатирического эффекта? Что такое «эзопов язык»?
8. В чем, на ваш взгляд, трудности искусства сатирика?





ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ (1821–1881)



Ф.М. Достоевский принадлежит к числу великих русских писателей-реалистов XIX века. Его произведения не только оказали огромное влияние на развитие мировой литературы, но и оставили глубокий след в духовном развитии человечества.

Родился Федор Михайлович Достоевский 30 октября 1821 года в Москве, в семье врача Мариинской больницы для бедных. Отец будущего писателя, Михаил Андреевич, закончил Медико-хирургическую академию, был участником войны 1812 года. В 1819 году он женился на дочери московского купца Марии Федоровне Нечаевой.

Первоначальным обучением детей в семье занимались родители и приходящие учителя. В 1833 году Достоевский вместе с братом Михаилом был отдан в пансион. После окончания Московского пансиона, весной 1837 года, отец отвез Михаила и Федора в Петербург для поступления в Главное Инженерное училище.

По состоянию здоровья Михаил не прошел медицинскую комиссию. Благодаря покровительству богатых родственников, его удалось пристроить в школу инженерных юнкеров в Ревеле. Федор же успешно сдал экзамены в Инженерное училище. Это было одно из лучших учебных заведений России, из стен которого вышли писатель Григорович, физиолог Сеченов, герой Шипки Радецкий.

Достоевский преуспевал в науках, но ему совершенно не давалась военная муштра. Среди сверстников в училище он держался особняком, предпочитая общению с ними чтение

книг. Здесь он на собственном опыте пережил трагедию души «маленького человека». Начальники училища охотно брали взятки от богатых родителей, а их дети пользовались всяческими привилегиями. Достоевский же в этом кругу выглядел изгоем и часто испытывал обиды и унижения, уколы уязвленного самолюбия. Впрочем, это продолжалось недолго, вскоре к Достоевскому пришло уважение сверстников и преподавателей. В училище убедились, что Федор — человек незаурядного ума, больших творческих способностей. А это всегда высоко ценилось в училище. Годы учебы были для Достоевского временем напряженной внутренней работы. «Я в себе уверен, — писал он брату Михаилу. — Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком».

В июле 1839 года скоропостижно скончался отец. Горе усугублялось слухами, что якобы он умер не своей смертью, а его убили мужики за крутой нрав. Это известие настолько потрясло Достоевского, что с ним впервые случился припадок — предвестник эпилепсии, которая будет мучить писателя до самой смерти.

В 1843 году Достоевский окончил училище и был зачислен на службу в Инженерный департамент, но через год вышел в отставку. Его настойчиво манила, звала к себе литература.

В 1845 году Достоевский закончил работу над своим первым романом «**Бедные люди**», встретившим восторженный прием со стороны передовой писательской общественности — Некрасова, Григоровича и особенно Белинского.

В своем романе Достоевский стремился показать правдивую картину жизни столичной бедноты, «бедных людей», населяющих доходные дома Петербурга.

«Бедные люди» продиктованы глубоким сочувствием к человеку, к его страданиям. Достоевский с большим чувством, проникновенно раскрыл души людей, стоящих на низшей ступени социальной лестницы. В этом мире нищеты, полуголодного существования, социальной униженности живут хорошие люди, благородных порывов, самоотверженных поступков, способные поддержать своими скудными

ми материальными средствами и душевной отзывчивостью еще более несчастных. Макар Девушкин, Варенька Добро-селова, студент Покровский, чиновник Горшков воплощают человечность, душевную красоту. Они противопоставляют миру «преуспевающих хозяев жизни» — богатому дельцу Быкову, сводне Анне Федоровне, ростовщику Маркову.

Сам герой Макар Девушкин — человек большого сердца, необычайной доброты. Ему чужды какое-либо своекорыстие и эгоизм. Он прекрасно понимает, что нищета доводит до унижения. Чтобы помочь Вареньке, попавшей в трудное положение, Макар идет на лишения и жертвы. Однако его самоотверженность, попытки облегчить участь ближнего своего носят пассивный характер. Добрые свойства человеческой природы сами по себе не способны изменить положение вещей, определяемое всем социальным укладом. Доброта Девушкина, его сострадание не приносят счастья ни ему самому, ни Вареньке, которая все-таки вынуждена выйти замуж за грубого эгоиста Быкова и обречь себя на еще более безрадостную жизнь.

В «Бедных людях» Достоевский выступает как художник социальных обобщений, видящий пороки и несправедливость существующего общественного уклада, ищущий социальной правды и справедливости.

«Бедные люди» — роман в письмах. Эпистолярная форма повествования позволила писателю как бы укрыть свое авторское лицо за персонажами. Простодушная правдивость и чувствительность, отличающая слог писем Девушкина, с обилием ласкательных и уменьшительных слов и суффиксов («маточка», «уголочек занавески», «к горшочку с бальзаминчиком») отражает состояние души робкого, нежного, легко ранимого человека.

Этот роман открыл целый цикл произведений Достоевского о жизни различных слоев населения Петербурга: повести «Двойник», «Роман в девяти письмах», «Господин Прохарчин», «Ползунков», «Белые ночи».

Творчество Достоевского в 40-е годы проходило под сильнейшим влиянием Белинского, принявшего живое участие в судьбе молодого писателя. Однако вскоре наметились серьезные разногласия. Достоевский считал, что

Белинский видит в литературе средство для решения насущных проблем современности. По его мнению, задачи, стоящие перед литературой, гораздо глубже и шире, она призвана проникнуть в тайники сознания человека и понять, что мешает ему обрести собственное достоинство. Особенно непримиримо относился Достоевский к атеизму великого критика.

С 1847 года Достоевский становится постоянным посетителем кружка Петрашевского. На собраниях обсуждались политические, философские и социально-экономические вопросы, спорили об учениях социалистов-утопистов — Фурье, Сен-Симона, Леблана, выдвигалась программа демократических преобразований в России.

В ночь с 22 на 23 апреля 1849 года по личному приказу Николая I все члены кружка Петрашевского были арестованы и заключены в Петропавловскую крепость. Восемь месяцев провел Достоевский в казематах Алексеевского рavelина. Военный суд признал его виновным и приговорил к расстрелу.

22 декабря 1849 года над петрашевцами, получившими смертный приговор, был совершен обряд подготовки к казни, и только в последнюю минуту им сообщили, что расстрел заменен каторжными работами. Достоевский был осужден на четыре года каторги с последующим определением в солдаты. Наказание писатель отбывал в Омской каторжной тюрьме, а затем в Сибирском линейном батальоне, расквартированном в Семипалатинске.

Если до каторги в сознании писателя противоречиво сочетались идеи утопического социализма и вера в Христа, то теперь он противопоставляет их.

Отбывая наказание, Достоевский много размышлял над формой своих будущих произведений. Он решил, что должен писать иначе: «Короче. — Быстрым рассказом. — Юмористично, кратко, с меткими выражениями». Эти принципы писатель попытался воплотить в «сибирских повестях» «Дядюшкин сон» (1854) и «Село Степанчиково и его обитатели» (1859).

После долгих хлопот о праве жить в столице, Достоевский вернулся в Петербург.

Россия в этот период переживала мощный подъем антикрепостнических настроений и выступлений, связанный с подготовкой и проведением крестьянской реформы.

Свои мысли по вопросам общественной жизни и литературы Достоевский изложил в журнале «Время», который начал издавать с 1861 года вместе с братом Михаилом.

В ряде статей говорилось, что реформы Петра I, несмотря на их прогрессивность, явились причиной образования пропасти между низшим и образованным сословиями, произошел отрыв культурных слоев общества от народной почвы. Настало время преодолеть этот разрыв. По мнению Достоевского, образованная часть общества должна слиться с народом, поделиться своими знаниями, приобщить его к культуре, а самим, в свою очередь, воспринять от народа высокие моральные нравственные устои его жизни: идеи добра и справедливости, способность сопереживания чужому горю, стремление помогать друг другу.

«Преступление и наказание» — одно из самых сложных и совершенных произведений. Это проблемный, социально-философский роман, подобного которому раньше не было ни в русской, ни в мировой литературе. Достоевский пытался решить в нем множество проблем: от социальных и нравственных до философских.

Достоевский отмечал, что его новый роман — это «психологический отчет одного преступления», которое совершил бедный студент Родион Раскольников, убивший старуху-процентщицу. Но Раскольников не просто убийца, и речь идет не об обычном уголовном преступлении, он убийца-преступник-мыслитель, философ. Раскольников убил старуху не ради своего обогащения и даже не для того, чтобы помочь матери и сестре. Это преступление явилось следствием трагических обстоятельств окружающей действительности, результатом размышлений героя о собственной судьбе и судьбе всех «Униженных и оскорбленных», о несовершенстве социальных и нравственных законов, по которым живет человечество.

Жизнь, по мнению Раскольникова, — клубок неразрешимых противоречий. Повсюду он видит картины нищеты, бесправия, унижения человеческого достоинства. На каждом

шагу ему встречаются люди, которым некуда деться. Да и сам герой находится не в лучшем положении. Живет он впроголодь, ютится в жалкой каморке, крошечной клетушке шагов шесть длиной, с желтыми, пыльными, отставшими от стены обоями и низким давящим потолком. Эта каморка – прообраз огромной, но столь же душной «каморки» большого города.

Теснота, скученность людей «на аршине пространства» вызывает чувство духовного одиночества человека в толпе. Люди здесь относятся друг к другу с подозрением и недоверием, их объединяют только злорадство и любопытство к чужим несчастьям. Мармеладов рассказывает потрясающую историю своей жизни под пьяный хохот и насмешки посетителей распивочной; сбегаются на скандал жильцы дома, в котором живет Катерина Ивановна.

Достоевский воссоздал глазами Раскольникова особое, преступное состояние мира, в котором право существования покупается ценой постоянных сделок с совестью. Герою романа кажется, что существующие законы вечны и неизменны, что человеческую природу никогда и ничем не исправить. Опираясь на примеры, взятые из истории, он приходит к выводу, что все люди делятся на «необыкновенных», которым «все позволено» и «обыкновенных», которые должны терпеть и покоряться. «... Люди, – говорит Раскольников следователю Порфирию Петровичу, – по закону природы, разделяются вообще на два разряда: на низший, то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово».

Поделив людей на две категории, Раскольников сталкивается с вопросом, к какой из них принадлежит он сам:

«... Вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу? Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право имею?» Убийство старухи-процентщицы – это самопроверка героя: выдержит ли он идею о праве сильной личности на кровь, является ли он избранным, исключительным человеком? В разговоре с Сонечкой Мармеладовой Раскольников объясняет причину, толкнувшую его на преступление: «Не для того я убил, что-

бы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил; для себя убил, для себя одного; а там стал ли бы я чьим-нибудь благодетелем или всю жизнь, как паук, ловил бы всех в паутину и из всех живые соки высасывал, мне в ту минуту, все равно должно было быть!».

Характер Раскольникова противоречив. Он весь в сомнениях и колебаниях. Вынашивая свою идею, Раскольников мечтает одновременно и о роли властелина (Наполеона), и о роли спасителя человечества (Христа). В его сознании все время происходит напряженная борьба. Он постоянно спорит с самим собой, пытаясь убедить себя в правильности своей теории. Сначала Раскольникову кажется, что после убийства его отношение к миру и людям не изменилось. Но он ошибся. Совершив преступление, Раскольников поставил себя в противоестественные отношения к окружающим людям. По словам Достоевского, он испытывает «чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, и это «замучило его». Раскольников ощущает себя изгоем, понимая, что между ним и людьми образовалась пропасть, что он переступил нравственный барьер и сам поставил себя вне законов человеческого общества. «Разве я старушонку убил, — говорит он Соне. — Я себя убил, а не старушонку!» В этом и заключается сущность наказания Раскольникова, которое страшнее любого другого наказания. Муки совести, душевная опустошенность привели его к тому, что он идет с повинной и отдается в руки правосудия.

Особое место в романе занимает образ Сони Мармеладовой, судьбу которой Раскольников соотносит с судьбой всех «униженных и оскорбленных». Образ Сонечки преследует его, на каждом шагу встречает он подобных ей отверженных и страдающих. Размышляя об участи своей сестры, Раскольников восклицает: «Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит!».

Судить Раскольникова по совести может только Сонечка. И это суд любовью, состраданием и человеческой чуткостью.

Судьба Сонечки полностью опровергает взгляд Раскольникова-теоретика на окружающий мир. Перед ним не «тварь

дрожащая» и не смиренная жертва обстоятельств. К Сонечке не липнет «грязь обстановки убогой». В условиях, казалось бы, совершенно исключающих добро и человечность, она находит свет и выход, достойный нравственного существа человека и не имеющего ничего общего с индивидуалистическим бунтом Раскольникова. Существует различие между стремлением к добру через допущение зла по отношению к другим и добровольным самопожертвованием во имя сострадательной любви к ближним. «Ведь справедливее, — восклицает Раскольников, — тысячу раз справедливее и разумнее было бы прямо головой в воду и разом покончить!» — «А что будет?» — слабо спросила Соня, страдальчески взглянув на него, но вместе с тем как бы вовсе не удивившись его предложению... И тут только понял он вполне, что значили для нее эти бедные, маленькие дети-сироты и эта жалкая полусумасшедшая Катерина Ивановна, с своею чахоткой и со стуканьем об стену головой». Самоотверженность Сони далека от смирения, ибо ее социально активный характер направлен на спасение погибающих.

С образом Сонечки связана великая идея Достоевского о том, что мир спасет братское единение между людьми во имя Христово и что основу этого единения нужно искать не в обществе «сильных мира сего», а в глубинах народной России.

Против теории Раскольникова в романе выступают Порфирий Петрович, Разумихин и Соня Мармеладова. Эти герои проповедуют необходимость «простого», цельного отношения к жизни.

Своеобразную роль в «Преступлении и наказании» играют образы Лужина и Свидригайлова — по сути «двойники» Раскольникова. Встретившись с беспринципным дельцом и приобретателем Лужиным, Раскольников убеждается, что между ними много общего. Он видит, что ради наживы, ради собственного благополучия Лужин готов на любую подлость. В основе его поведения лежит принцип: «Возлюби прежде всех, одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано». Раскольников видит, что суждения Лужина есть не что иное, как умеренный вариант его собственной теории.

Много общего у Раскольникова и Свидригайлова, который не без основания говорит, что между ними имеется «точка общая», что они «одного поля ягоды». Свидригайлов — нравственный урод, шулер и убийца. Это развратный и циничный человек, одновременно сознающий в глубине души нравственную опустошенность. Он ни во что не верит, и давно утратил различие между добром и злом. Теория Раскольникова в своем развитии неминуемо должна выродиться в свидригайловщину.

В романе отчетливо выражен призыв Достоевского к преодолению эгоизма, к смирению, христианской любви к ближнему, к очистительному страданию.

Известный русский исследователь М.М. Бахтин отметил, что роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» обладает новаторской структурой. Это полифонический роман, в котором постоянно слышны многие голоса, мнения, идеи. Именно такое построение позволяет автору сделать роман живым, напряженным, психологичным. Полифония (музыкальный термин, почти метафорически перенесенный критиком в область литературоведения) — особенный художественный прием, позволивший Достоевскому объективно и убедительно передать в романе движения и глубину человеческой души, во всем многообразии оттенков ее светлых и темных сторон.

Среди произведений Достоевского, созданных в 60-е годы, особое место занимает роман «Идиот» (1868). «Идея романа — моя старинная и любимая, но до того трудная, что я долго не смел браться за нее... Главная мысль романа — изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого ничего нет на свете», — писал Достоевский.

Носителем «положительно-прекрасного» идеала в романе является князь Мышкин. Достоевский создал своего «положительно-прекрасного человека», когда его еще не было в действительности, когда такой идеал еще не выработался. С этим связана некоторая условность в обрисовке формирования характера князя. Читатель узнает только о его тяжелом психическом заболевании, которое он одолел в Швейцарии, долгое время живя вне цивилизации, вдали от людей.

У князя Мышкина особая миссия — исцелять пораженные эгоизмом души людей.

В общении с окружающими князь Мышкин не признает никаких сословных разграничений. Люди, не принимающие проповедуемые князем истины, считают его «идиотом», в то же время тянутся к нему, потому что видят в нем сохраненную чистоту нравственности, которую сами давно утратили.

В отличие от других, Мышкин по-своему реагирует на унижения и обиды. Получив пощечину от Ганечки Иволгина, он тяжело переживает, но не за себя, а за Ганечку: «О, как вы будете стыдиться своего поступка!» Мышкин глубоко верит в то, что человек, пытающийся унижить другого человека, унижает в первую очередь себя самого.

Видное место в романе занимает тема красоты. По мнению Достоевского, красота несет душе очищение и возможность совершенствования. Писатель убежден, что «мир красотой спасется». Об этом говорит в романе и князь Мышкин.

Однако земная красота не всегда может противостоять злу и сама оказывается погубленной. Тема поруганной красоты глубоко и убедительно раскрыта в образе Настасьи Филипповны. Женщина удивительной красоты и внутренней чистоты, она неизмеримо выше окружающих ее людей. Князь Мышкин явился первым человеком, который понял всю глубину ее душевных мук. И Настасья Филипповна потянулась к нему, полагая, что он может спасти, защитить ее. Но Мышкин мог предложить ей лишь любовь-жалость, любовь-сострадание. Такую любовь она принять не может, так как не считает себя вправе воспользоваться великодушием князя.

Утверждая, что «красота спасет мир», Достоевский имел в виду не внешнюю красоту. Истинная красота, по мнению писателя, состоит в духовной чистоте и преданности христианским идеалам смирения, сострадания и любви.

Роман «Идиот» — это роман-трагедия. Спасая мир, Мышкин провоцирует катастрофу, ибо люди, отравленные эгоизмом, и благотворны, и опасны. Секундные исцеления в этих людях сменяются вспышками еще более исступ-

ленной гордости. Своим влиянием князь и пробуждает сердечность, и обостряет противоречия больных тщеславных душ. Проповедь христианской любви и согласия терпит крах. Она оказалась бессильной перед миром злобы, лицемерия, разнузданных страстей и жадности наживы. Однако обострение противоречий в захваченных эгоизмом душах людей свидетельствует, что души их к добру неравнодушны. Прежде чем добро восторжествует, неизбежна напряженная, и даже трагическая борьба со злом в сознании людей. Духовная смерть Мышкина (потеря рассудка) наступает лишь тогда, когда он в меру своих сил и возможностей целиком отдал себя людям, заронив в их сердца семена добра.

«**Братья Карамазовы**» (1879–1880). По своему жанру — это социально-психологический роман. Положив в основу своего произведения изображение конкретной социальной среды и сложных человеческих характеров, Достоевский попытался связать их с решением всемирных проблем, имеющих общечеловеческое значение.

В центре романа — история семьи Карамазовых, семьи разлагающейся, в которой даже ближайшие родственники ненавидят друг друга и становятся смертельными врагами.

Современное общество, по мнению Достоевского, заражено тяжелой духовной болезнью — «карамазовщиной», суть которой заключается в отрицании всего святого: «Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна, — признается Смердяков. — В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского... и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с». «Смердяковщина» — лакейский вариант «карамазовщины» — наглядно демонстрирует суть этой болезни: извращенную любовь к унижению, к надругательству над самыми светлыми сторонами жизни.

Главным носителем «карамазовщины» является Федор Павлович. Подлость, корыстолюбие и алчность, цинизм и плотские удовольствия являются характерными чертами его натуры. Он испытывает глубокое наслаждение от постоян-

ного унижения истины, добра и красоты. Где-то в глубине души у него есть и нечто человеческое. Он по-своему любит жизнь и способен на сильное чувство к Грушеньке. Но и эти добрые начала приобретают у него уродливые формы.

У Федора Павловича четыре сына: три родных (Дмитрий, Иван, Алексей) и один незаконнорожденный — Смердяков, прижитый от юродивой Лизаветы Смердящей. Родные сыновья были брошены отцом в раннем детстве на произвол судьбы. Став взрослыми, они возненавидели своего отца.

Старший, Дмитрий, — человек с необузданным характером, очень самолюбивый и одновременно добрый и великодушный. В нем сочетаются добро и зло, благородство и низость. Отца Дмитрий ненавидит, считая, что тот ограбил его и мешает добиться благосклонности Грушеньки. И очень часто в раздражении Митя грозит убить отца. Преступления он не совершил. Однако Дмитрий осознает свою вину уже потому, что у него могла возникнуть мысль об убийстве. Он приходит к выводу, что идея отцеубийства могла зародиться только в жестоком и несправедливом мире, поэтому виноват не только он, а все виноваты за всех и во всем. Постепенно он начинает осознавать свою ответственность за происходящее в окружающем мире и необходимость самому исправить зло. Он решает пострадать за всех, потому что все виноваты: «За всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти. Я не убил отца, но мне надо пойти. Принимаю!.. Да здравствует Бог и Его радость! Люблю Его!». Здесь четко обозначена идея писателя об очищающем страдании, через которое можно вновь обрести Бога.

Дмитрию во многом противопоставлен брат Иван — мыслитель и философ, стремящийся понять смысл жизни. Как истинный Карамазов он любит жизнь. И в то же время не приемлет мир, созданный Богом: «Я не Бога не принимаю, я мира, Им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять». Он допускает, что когда-нибудь люди, испытав страдания, простят друг друга и установится «вечная гармония». Однако, по его мнению, никакая гармония не может быть искуплена ценой мук, страданий и слез, и прежде всего ценой страданий невинных детей. «Я не хочу, чтобы страдали большие, — говорит Иван Алеше. — И если

страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены».

Иван ставит под сомнение существование Бога. В его рассуждениях заключена мысль о том, что в мире никогда не будет справедливости, что никогда человечество не будет счастливо, так как гармонию и счастье нельзя купить ценой горя и зла, которые должны перенести люди, стремясь к этой гармонии.

Бунт Ивана — бунт индивидуалиста. Не веря в мировую гармонию и не желая ее («Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу»), он освобождает себя от всех нравственных норм и делает вывод, что «все позволено». Однако Иван теоретик и не способен действовать, не способен совершить преступление. Он ненавидит отца и брата Митю, хочет, чтобы «один гад съел другую гадину», но на убийство решиться не может. Тем не менее, его теория «вседозволенности» находит отклик в душе озлобленного лакея Смердякова. Иван знает, что Смердяков собирается убить отца, но не пытается помешать ему, тем самым как бы поощряя преступление и становясь его соучастником.

Убийство Федора Павловича — следствие философской, рассудочной «карамазовщины» Ивана, результат безверия и нигилизма.

Особая роль в романе отведена младшему из братьев — Алексею. Воспитанный старцем Зосимой, который учил его «высшей правде жизни», Алеша — образец кротости, смирения, нравственной чистоты и любви к ближнему своему. Он тоже Карамазов, но стремится преодолеть в себе «карамазовщину». Алеша пытается примирить людей, помочь им найти себя, обрести душевное равновесие и покой. К нему тянутся все страждущие и обиженные, особенно любят Алешу дети. Именно к ним обращается Алеша в конце романа, призывая всегда быть «добрыми, смелыми и честными». В этих словах автор романа выразил надежду на молодое поколение.

Роман «Братья Карамазовы» явился свидетельством упорных поисков Достоевским ответов на важнейшие вопросы

человеческого бытия, размышлений о путях развития и преобразования общества.

Последним крупным событием в жизни и творчестве Достоевского стала его знаменитая «Речь о Пушкине», которую он произнес 8 июня 1880 года на торжественном заседании Общества любителей российской словесности, посвященном открытию памятника Пушкину в Москве.

Умер Достоевский 28 января 1881 года.

Произведения Достоевского, пронизанные идеями гуманизма, являются гордостью русской литературы и крупнейшим вкладом в сокровищницу мирового искусства.



Роман

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

Часть 4. Глава IV

А Раскольников пошел прямо к дому на канаве, где жила Соня. Дом был трехэтажный, старый и зеленого цвета. Он доискался дворника и получил от него неопределенные указания, где живет Капернаулов портной. Отыскав в углу на дворе вход на узкую и темную лестницу, он поднялся наконец во второй этаж и вышел на галерею, обходившую его со стороны двора. Покамест он бродил в темноте и в недоумении, где бы мог быть вход к Капернаулову, вдруг, в трех шагах от него, отворилась какая-то дверь; он схватился за нее машинально.

— Кто тут? — тревожно спросил женский голос.

— Это я... к вам, — ответил Раскольников и вошел в крошечную переднюю. Тут, на продавленном стуле, в искривленном медном подсвечнике, стояла свеча.

— Это вы! Господи! — слабо вскрикнула Соня и стала как вкопанная.

— Куда к вам? Сюда?

И Раскольников, стараясь не глядеть на нее, поскорей прошел в комнату. Через минуту вошла со свечой и Соня, поставила свечу и стала сама перед ним, совсем растерявшая-

ся, вся в невыразимом волнении и, видимо, испуганная его неожиданным посещением. Вдруг краска бросилась в ее бледное лицо, и даже слезы выступили на глазах... Ей было и тошно, и стыдно, и сладко... Раскольников быстро отвернулся и сел на стул к столу. Мельком успел он охватить взглядом комнату.

Это была большая комната, но чрезвычайно низкая, единственная отдававшаяся от Капернаумовых, запертая дверь к которым находилась в стене слева. На противоположной стороне, в стене справа, была еще другая дверь, всегда запертая наглухо. Там уже была другая, соседняя квартира, под другим номером. Сонина комната походила как будто на сарай, имела вид весьма неправильного четырехугольника, и это придавало ей что-то уродливое. Стена с тремя окнами, выходящая на канаву, перерезывала комнату как-то вкось, отчего один угол, ужасно острый, убежал куда-то вглубь, так что его, при слабом освещении, даже и разглядеть нельзя было хорошенько; другой же угол был уже слишком безобразно тупой. Во всей этой большой комнате почти совсем не было мебели. В углу, направо, находилась кровать; подле нее, ближе к двери, стул. По той же стене, где была кровать, у самых дверей в чужую квартиру, стоял простой тесовый стол, покрытый синенькой скатертью; около стола два плетеных стула. Затем, у противоположной стены, поблизости от острого угла, стоял небольшой, простого дерева комод, как бы затерявшийся в пустоте. Вот всё, что было в комнате. Желтоватые, обшмыганные и истасканные обои почернели по всем углам; должно быть, здесь бывало сыро и угарно зимой. Бедность была видимая; даже у кровати не было занавесок.

Соня молча смотрела на своего гостя, так внимательно и бесцеремонно осматривавшего ее комнату, и даже начала, наконец, дрожать в страхе, точно стояла перед судьей и решителем своей участи.

— Я поздно... Одиннадцать часов есть? — спросил он, всё еще не подымая на нее глаз.

— Есть, — пробормотала Соня. — Ах да, есть! — заторопилась она вдруг, как будто в этом был для нее весь ис-

ход, — сейчас у хозяев часы пробили... и я сама слышала...
Есть.

— Я к вам в последний раз пришел, — угрюмо продолжал Раскольников, хотя и теперь был только в первый, — я, может быть, вас не увижу больше...

— Вы... едете? — Не знаю... всё завтра...

— Так вы не будете завтра у Катерины Ивановны? — дрогнул голос у Сони. — Не знаю. Всё завтра утром... Не в том дело: я пришел одно слово сказать...

Он поднял на нее свой задумчивый взгляд и вдруг заметил, что он сидит, а она всё еще стоит перед ним.

— Что ж вы стоите? Сядьте, — проговорил он вдруг переменявшимся, тихим и ласковым голосом.

Она села. Он приветливо и почти с состраданием посмотрел на нее с минуту. <...>

— Я бы в вашей комнате по ночам боялся, — угрюмо заметил он.

— Хозяева очень хорошие, очень ласковые, — отвечала Соня, всё еще как бы не опомнившись и не сообразившись, — и вся мебель, и всё... всё хозяйское. И они очень добрые, и дети тоже ко мне часто ходят...

— Это косноязычные-то?

— Да-с... Он заикается и хром тоже. И жена тоже... Не то что заикается, а как будто не всё выговаривает. Она добрая, очень. А он бывший дворовый человек. А детей семь человек... и только старший один заикается, а другие просто больные... а не заикаются... А вы откуда про них знаете? — прибавила она с некоторым удивлением.

— Мне ваш отец всё тогда рассказал. Он мне всё про вас рассказал... И про то, как вы в шесть часов пошли, а в девятом назад пришли, и про то, как Катерина Ивановна у вашей постели на коленях стояла.

Соня смутилась.

— Я его точно сегодня видела, — прошептала она нерешительно.

— Кого?

— Отца. Я по улице шла, там подле, на углу, в десятом часу, а он будто впереди идет. И точно как будто он. Я хотела уж зайти к Катерине Ивановне...

— Вы гуляли?

— Да, — отрывисто прошептала Соня опять смутившись и потупившись.

— Катерина Ивановна ведь вас чуть не била, у отца-то?

— Ах нет, что вы, что вы это, нет! — с каким-то даже испугом посмотрела на него Соня.

— Так вы ее любите?

— Ее? Да ка-а-ак же! — протянула Соня жалобно и с страданием сложив вдруг руки. — Ах! вы ее... Если б вы только знали. Ведь она совсем как ребенок... Ведь у ней ум совсем как помешан... от горя. А какая она умная была... какая великодушная... какая добрая! Вы ничего, ничего не знаете... ах!

Соня проговорила это точно в отчаянии, волнуясь и страдая, и ломая руки. Бледные щеки ее опять вспыхнули, в глазах выразилась мука. Видно было, что в ней ужасно много затронули, что ей ужасно хотелось что-то выразить, сказать, заступиться. Какое-то ненасытимое сострадание, если можно так выразиться, изобразилось вдруг во всех чертах лица ее.

— Била! Да что вы это! Господи, била! А хоть бы и била, так что ж! Ну так что ж? Вы ничего, ничего не знаете... Это такая несчастная, ах, какая несчастная! И больная... Она справедливости ищет... Она чистая. Она так верит, что во всем справедливость должна быть, и требует... И хоть мучайте ее, а она несправедливого не сделает. Она сама не замечает, как это всё нельзя, чтобы справедливо было в людях, и раздражается... Как ребенок, как ребенок! Она справедливая, справедливая!

— А с вами что будет?

Соня посмотрела вопросительно.

— Они ведь на вас остались. Оно, правда, и прежде всё было на вас, и покойник на похмелье к вам же ходил просить. Ну, а теперь вот что будет?

— Не знаю, — грустно произнесла Соня.

— Они там останутся?

— Не знаю, они на той квартире должны; только хозяйка, слышно, говорила сегодня, что отказать хочет, а Катерина Ивановна говорит, что и сама ни минуты не останется.

— С чего ж это она так храбрится? На вас надеется?

— Ах нет, не говорите так!.. Мы одно, заодно живем, — вдруг опять взволновалась и даже раздражилась Соня, точь-в-точь как если бы рассердилась канарейка или какая другая маленькая птичка. — Да и как же ей быть? Ну как же, как же быть? — спрашивала она, горячась и волнуясь. — А сколько, сколько она сегодня плакала! У ней ум мешается, вы этого не заметили? Мешается; то тревожится, как маленькая, о том, чтобы завтра всё прилично было, закуски были и всё... то руки ломает, кровью харкает, плачет, вдруг стучать начнет головой об стену, как в отчаянии. А потом опять утешится, на вас она всё надеется: говорит, что вы теперь ей помощник и что она где-нибудь немного денег займет и поедет в свой город, со мною, и пансион для благородных девиц заведет, а меня возьмет надзирательницей, и начнется у нас совсем новая, прекрасная жизнь, и целует меня, обнимает, утешает, и ведь так верит! так верит фантазиям-то! Ну разве можно ей противоречить? А сама-то весь-то день сегодня моет, чистит, чинит, корыто сама, с своею слабенькою-то силой, в комнату втащила, запыхалась, так и упала на постель; а то мы в ряды еще с ней утром ходили, башмачки Полечке и Лене купить, потому у них все развалились, только у нас денег-то и недостало по расчету, очень много недостало, а она такие миленькие ботиночки выбрала, потому у ней вкус есть, вы не знаете... Тут же в лавке так и заплакала, при купцах-то, что недостало... Ах, как было жалко смотреть.

— Ну и понятно после того, что вы... так живете, сказал с горькою усмешкой Раскольников.

— А вам разве не жалко? Не жалко? — вскинулась опять Соня, — ведь вы, я знаю, вы последнее сами отдали, еще ничего не видя. А если бы вы всё-то видели, о господи! А сколько, сколько раз я ее в слезы вводила! Да на прошлой еще неделе! Ох, я! Всего за неделю до его смерти. Я жестоко поступила! И сколько, сколько раз я это делала. Ах как теперь целый день вспоминать было больно!

Соня даже руки ломала говоря, от боли воспоминания. — Это вы-то жестокая?

— Да я, я! Я пришла тогда, — продолжала она плача, — а покойник и говорит: «Прочти мне, говорит, Соня, у меня голова что-то болит, прочти мне... вот книжка», — какая-то книжка у него, у Андрея Семеныча достал, у Лебезятникова, тут живет, он такие смешные книжки всё доставал. А я говорю: «мне идти пора», так и не хотела прочесть, а зашла я к ним, главное чтоб воротнички показать Катерине Ивановне; мне Лизавета, торговка, воротнички и нарукавнички дешево принесла, хорошенькие, новенькие и с узором. А Катерине Ивановне очень понравились, она надела и в зеркало посмотрела на себя, и очень, очень ей понравились: «подари мне, говорит, их, Соня, пожалуйста». Пожалуйста попросила, и уж так ей хотелось. А куда ей надевать! Так: прежнее, счастливое время только вспомнилось! Смотрится на себя в зеркало, любитесь, и никаких-то, никаких-то у ней платьев нет, никаких-то вещей, вот уж сколько лет! И ничего-то она никогда ни у кого не попросит; гордая, сама скорей отдаст последнее, а тут вот попросила, — так уж ей понравились! А я и отдать пожалела, «на что вам, говорю, Катерина Ивановна?» Так и сказала, «на что». Уж этого-то не надо было бы ей говорить! Она так на меня посмотрела, и так ей тяжело-тяжело стало, что я отказала, и так это было жалко смотреть... И не за воротнички тяжело, а за то, что я отказала, я видела. Ах, так бы, кажется, теперь всё воротила, всё переделала, все эти прежние слова... Ох, я... да что!.. вам ведь всё равно!

— Эту Лизавету торговку вы знали?

— Да... А вы разве знали? — с некоторым удивлением переспросила Соня.

— Катерина Ивановна в чахотке, в злой; она скоро умрет, — сказал Раскольников, помолчав и не ответив на вопрос.

— Ох, нет, нет, нет! — И Соня бессознательным жестом схватила его за обе руки, как бы упрашивая, чтобы нет.

— Да ведь это ж лучше, коль умрет.

— Нет, не лучше, не лучше, совсем не лучше! — испуганно и безотчетно повторяла она.

— А дети-то? Куда ж вы тогда возьмете их, коль не к вам?

— Ох, уж не знаю! — вскрикнула Соня почти в отчаянии и схватилась за голову. Видно было, что эта мысль уж много-много раз в ней самой мелькала, и он только испугнул опять эту мысль.

— Ну а коль вы, еще при Катерине Ивановне, теперь, заболели и вас в больницу свезут, ну что тогда будет? — безжалостно настаивал он.

— Ах, что вы, что вы! Этого-то уж не может быть! — и лицо Сони искривилось страшным испугом.

— Как не может быть? — продолжал Раскольников с жесткой усмешкой, — не застрахованы же вы? Тогда что с ними станется? На улицу всею гурьбой пойдут, она будет кашлять и просить, и об стену где-нибудь головой стучать, как сегодня, а дети плакать... А там упадет, в часть свезут, в больницу, умрет, а дети...

— Ох, нет!.. Бог этого не попустит! — вырвалось наконец из стесненной груди у Сони. Она слушала, с мольбой смотря на него и складывая в немой просьбе руки, точно от него всё и зависело. Раскольников встал и начал ходить по комнате. Прошло с минуту. Соня стояла, опустив руки и голову, в страшной тоске.

— А копить нельзя? На черный день откладывать? — спросил он, вдруг останавливаясь перед ней.

— Нет, — прошептала Соня.

— Разумеется, нет! А пробовали? — прибавил он чуть не с насмешкой. — Пробовала.

— И сорвалось! Ну, да разумеется! Что и спрашивать!

И опять он пошел по комнате. Еще прошло с минуту.

— Не каждый день получаете-то? Соня больше прежнего смутилась, и краска ударила ей опять в лицо.

— Нет, — прошептала она с мучительным усилием.

— С Полечкой, наверно, то же самое будет, — сказал он вдруг.

— Нет! нет! Не может быть, нет! — как отчаянная, громко вскрикнула Соня, как будто ее вдруг ножом ранили. — Бог, бог такого ужаса не допустит!..

— Других допускает же.

— Нет, нет! Ее бог защитит, бог!.. — повторяла она, не помня себя.

— Да, может, и бога-то совсем нет, — с каким-то даже злорадством ответил Раскольников, засмеялся и посмотрел на нее. Лицо Сони вдруг страшно изменилось: по нем пробежали судороги. С невыразимым укором взглянула она на него, хотела было что-то сказать, но ничего не могла выговорить и только вдруг горько-горько зарыдала, закрыв руками лицо.

— Вы говорите, у Катерины Ивановны ум мешается; у вас самой ум мешается, — проговорил он после некоторого молчания.

Прошло минут пять. Он всё ходил взад и вперед, молча и не взглядывая на нее. Наконец подошел к ней; глаза его сверкали. Он взял ее обеими руками за плечи и прямо посмотрел в ее плачущее лицо. Взгляд его был сухой, воспаленный, острый, губы его сильно вздрагивали... Вдруг он весь быстро наклонился и, припав к полу, поцеловал ее ногу. Соня в ужасе от него отшатнулась, как от сумасшедшего. И действительно, он смотрел как совсем сумасшедший.

— Что вы, что вы это? Передо мной! — пробормотала она, побледнев, и больно-больно сжало вдруг ей сердце.

Он тотчас же встал. — Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился, — как-то дико произнес он и отошел к окну. — Слушай, — прибавил он, воротившись к ней через минуту, — я давеча сказал одному обидчику, что он не стоит одного твоего мизинца... и что я моей сестре сделал сегодня честь, посадив ее рядом с тобою.

— Ах, что вы это им сказали! И при ней? — испуганно вскрикнула Соня, — сидеть со мной! Честь! Да ведь я... бесчестная... я великая, великая грешница! Ах, что вы это сказали!

— Не за бесчестие и грех я сказал это про тебя, а за великое страдание твое. А что ты великая грешница, то это так, — прибавил он почти восторженно, — а пуще всего, тем ты грешница, что понапрасну умертвила и предала себя. Еще бы это не ужас! Еще бы не ужас, что ты живешь в этой грязи, которую так ненавидишь, и в то же время знаешь сама (только стоит глаза раскрыть), что никому ты этим не помогаешь и никого ни от чего не спасаешь! Да скажи же мне

наконец, — проговорил он, почти в иступлении, — как этакой позор и такая низость в тебе рядом с другими противоположными и святыми чувствами совмещаются? Ведь справедливее, тысячу раз справедливее и разумнее было бы прямо головой в воду и разом покончить!

— А с ними-то что будет? — слабо спросила Соня, страдальчески взглянув на него, но вместе с тем как бы вовсе и не удивившись его предложению. Раскольников странно посмотрел на нее.

Он всё прочел в одном ее взгляде. Стало быть, действительно у ней самой была уже эта мысль. Может быть, много раз и серьезно обдумывала она в отчаянии, как бы разом покончить, и до того серьезно, что теперь почти и не удивилась предложению его. Даже жестокости слов его не заметила (смысла укоров его и особенного взгляда его на ее позор она, конечно, тоже не заметила, и это было видимо для него). Но он понял вполне, до какой чудовищной боли истерзала ее, и уже давно, мысль о бесчестном и позорном ее положении. Что же, что же бы могло, думал он, по сих пор останавливать решимость ее покончить разом? И тут только понял он вполне, что значили для нее эти бедные, маленькие дети-сироты и эта жалкая, полусумасшедшая Катерина Ивановна, с своею чахоткой и со стуканием об стену головою.

Но тем не менее ему опять-таки было ясно, что Соня с своим характером и с тем все-таки развитием, которое она получила, ни в каком случае не могла так оставаться. Все-таки для него составляло вопрос: почему она так слишком уже долго могла оставаться в таком положении и не сошла с ума, если уж не в силах была броситься в воду? Конечно, он понимал, что положение Сони есть явление случайное в обществе, хотя, к несчастью, далеко не одиночное и не исключительное. Но эта-то самая случайность, эта некоторая развитость и вся предыдущая жизнь ее могли бы, кажется, сразу убить ее при первом шаге на отвратительной дороге этой. Что же поддерживало ее? Не разврат же? Ведь этот позор, очевидно, коснулся ее только механически; настоящий разврат еще не проник ни одною каплей в ее сердце: он это видел; она стояла перед ним наяву... «Ей три дороги, — думал

он: — броситься в канаву, попасть в сумасшедший дом, или... или, наконец, броситься в разврат, одурманивающий ум и окаменяющий сердце». Последняя мысль была ему всего отвратительнее; но он был уже скептик, он был молод, отвлечен и, стало быть, жесток, а потому и не мог не верить, что последний выход, то есть разврат, был всего вероятнее.

«Но неужели ж это правда, — воскликнул он про себя, — неужели ж и это создание, еще сохранившее чистоту духа, сознательно втянется наконец в эту мерзкую, смрадную яму? Неужели это втягивание уже началось, и неужели потому только она и могла вытерпеть до сих пор, что порок уже не кажется ей так отвратительным? Нет, нет, быть того не может! — восклицал он, как давеча Соня, — нет, от канавы удерживала ее до сих пор мысль о грехе, и они, те... Если же она до сих пор еще не сошла с ума... Но кто же сказал, что она не сошла уже с ума? Разве она в здравом рассудке? Разве так можно говорить, как она? Разве в здравом рассудке так можно рассуждать, как она? Разве так можно сидеть над погибелью, прямо над смрадной ямой, в которую уже ее втягивает, и махать руками, и уши затыкать, когда ей говорят об опасности? Что она, уж не чуда ли ждет? И наверно так. Разве всё это не признаки помешательства?»

Он с упорством остановился на этой мысли. Этот исход ему даже более нравился, чем всякий другой. Он начал пристальнее всматриваться в нее.

— Так ты очень молишься богу-то, Соня? — спросил он ее. Соня молчала, он стоял подле нее и ждал ответа.

— Что ж бы я без бога-то была? — быстро, энергически прошептала она, мельком вскинув на него вдруг засверкавшими глазами, и крепко стиснула рукой его руку.

«Ну, так и есть!» — подумал он.

— А тебе бог что за это делает? — спросил он, выпытывая дальше.

Соня долго молчала, как бы не могла отвечать. Слабенькая грудь ее вся колыхалась от волнения.

— Молчите! Не спрашивайте! Вы не стойте!.. — вскрикнула она вдруг, строго и гневно смотря на него.

«Так и есть! так и есть!» — повторял он настойчиво про себя.

— Всё делает! — быстро прошептала она, опять потупившись.

«Вот и исход! Вот и объяснение исхода!» — решил он про себя, с жадным любопытством рассматривая ее.

С новым, странным, почти болезненным, чувством всматривался он в это бледное, худое и неправильное угловатое личико, в эти кроткие голубые глаза, могущие сверкать таким огнем, таким суровым энергическим чувством, в это маленькое тело, еще дрожавшее от негодования и гнева, и всё это казалось ему более и более странным, почти невозможным. «Юродивая! юродивая!» — твердил он про себя.

На комодѣ лежала какая-то книга. Он каждый раз, проходя взад и вперед, замечал ее; теперь же взял и посмотрел. Это был Новый завет в русском переводе. Книга была старая, подержанная, в кожаном переплете.

— Это откуда? — крикнул он ей через комнату. Она стояла всё на том же месте, в трех шагах от стола.

— Мне принесли, — ответила она, будто нехотя и не взглядывая на него.

— Кто принес?

— Лизавета принесла, я просила.

«Лизавета! Странно!» — подумал он. Всё у Сони становилось для него как-то страннее и чудеснее, с каждой минутой. Он перенес книгу к свече и стал перелистывать.

— Где тут про Лазаря? — спросил он вдруг.

Соня упорно глядела в землю и не отвечала. Она стояла немного боком к столу.

— Про воскресение Лазаря где? Отыщи мне, Соня.

Она искоса глянула на него.

— Не там смотрите... в четвертом евангелии... — сурово прошептала она, не подвигаясь к нему.

— Найди и прочти мне, — сказал он, сел, облокотился на стол, подпер рукой голову и угрюмо уставился в сторону, приготовившись слушать.

«Недели через три на седьмую версту, милости просим! Я, кажется, сам там буду, если еще хуже не будет», — бормотал он про себя.

Соня нерешительно ступила к столу, недоверчиво выслушав странное желание Раскольникова. Впрочем, взяла книгу.

— Разве вы не читали? — спросила она, глянув на него через стол, исподлобья. Голос ее становился всё суровее и суровее.

— Давно... Когда учился. Читай!

— А в церкви не слышали?

— Я... не ходил. А ты часто ходишь? — Н-нет, — прошептала Соня.

Раскольников усмехнулся.

— Понимаю... И отца, стало быть, завтра не пойдешь хоронить?

— Пойду. Я и на прошлой неделе была... панихиду служила.

— По ком?

— По Лизавете. Ее топором убили.

Нервы его раздражались всё более и более. Голова начала кружиться.

— Ты с Лизаветой дружна была?

— Да... Она была справедливая... она приходила... редко... нельзя было. Мы с ней читали и... говорили. Она бога узрит.

Странно звучали для него эти книжные слова, и опять новость: какие-то таинственные сходки с Лизаветой, и обе — юродивые.

«Тут и сам станешь юродивым! Заразительно!» — подумал он. — Читай! — воскликнул он вдруг настойчиво и раздражительно. Соня всё колебалась. Сердце ее стучало. Не смела как-то она ему читать. Почти с мучением смотрел он на «несчастную помешанную».

— Зачем вам? Ведь вы не веруете?.. — прошептала она тихо и как-то задыхаясь.

— Читай! Я так хочу! — настаивал он, — читала же Лизавете!

Соня развернула книгу и отыскивала место. Руки ее дрожали, голосу не хватало. Два раза начинала она, и всё не выговаривалось первого слога.

«Был же болен некто Лазарь, из Вифании...» — произнесла она наконец, с усилием, но вдруг, с третьего слова, голос

зазвенел и порвался, как слишком натянутая струна. Дух пересекло, и в груди стеснилось.

Раскольников понимал отчасти, почему Соня не решалась ему читать, и чем более понимал это, тем как бы грубее и раздражительнее настаивал на чтении. Он слишком хорошо понимал, как тяжело было ей теперь выдавать и обличать всё свое. Он понял, что чувства эти действительно как бы составляли настоящую и уже давнишнюю, может быть, тайну ее, может быть еще с самого отрочества, еще в семье, подле несчастного отца и сумасшедшей от горя мачехи среди голодных детей, безобразных криков и попреков. Но в то же время он узнал теперь, и узнал наверно, что хоть и тосковала она и боялась чего-то ужасно, принимаясь теперь читать, но что вместе с тем ей мучительно самой хотелось прочесть, несмотря на всю тоску и на все опасения, и именно ему, чтоб он слышал, и непременно теперь — «что бы там ни вышло потом!»... Он прочел это в ее глазах, понял из ее восторженного волнения... Она пересилила себя, подавила горловую спазму, пресекающую в начале стиха ее голос, и продолжала чтение одиннадцатой главы Евангелия Иоаннова. Так дочла она до 19-го стиха:

«И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услыша, что идет Иисус, пошла навстречу ему; Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: господи! если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у бога, даст тебе бог». Тут она остановилась опять, стыдливо предчувствуя, что дрогнет и порвется опять ее голос...

«Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит ему (и как бы с болью переведя дух, Соня отдельно и с силою прочла, точно сама во всеуслышание исповедовала).

«Так, господи! Я верую, что ты Христос, сын божий, грядущий в мир».

Она было остановилась, быстро подняла было на него глаза, но поскорей пересилила себя и стала читать далее. Рас-

кольников сидел и слушал неподвижно, не оборачиваясь, облокотясь на стол и смотря в сторону. Дочли до 32-го стиха.

«Мария же, пришедши туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его; и сказала ему: господи! если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам восскорбел духом и возмутился. И сказал: где вы положили его? Говорят ему: господи! поди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: смотри, как он любил его. А некоторые из них сказали: не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтоб и этот не умер?»

Раскольников обернулся к ней и с волнением смотрел на нее: да, так и есть! Она уже вся дрожала в действительной, настоящей лихорадке. Он ожидал этого. Она приближалась к слову о величайшем и неслыханном чуде, и чувство великого торжества охватило ее. Голос ее стал звонок, как металл; торжество и радость звучали в нем и крепили его. Строчки мешались перед ней, потому что в глазах темнело, но она знала наизусть, что читала. При последнем стихе: «не мог ли сей, отверзший очи слепому...» — она, понизив голос, горячо и страстно передала сомнение, укор и хулу неверующих, слепых иудеев, которые сейчас, через минуту, как громом пораженные, падут, зарыдают и уверуют... «И он, он — тоже ослепленный и неверующий, — он тоже сейчас услышит, он тоже уверует, да, да! сейчас же, теперь же», — мечталось ей, и она дрожала от радостного ожидания.

«Иисус же, опять скорбя внутренно, проходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему: господи! уже смердит; ибо четыре дни, как он во гробе».

Она энергично ударила на слово: четыре.

«Иисус говорит ей: не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав сие, воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вы-

шел умерший, (громко и восторженно прочла она, дрожа и холодея, как бы в очию сама видела): обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами; и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его; пусть идет.

Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него».

Далее она не читала и не могла читать, закрыла книгу и быстро встала со стула.

— Всё об воскресении Лазаря, — отрывисто и сурово прошептала она и стала неподвижно, отвернувшись в сторону, не смея и как бы стыдясь поднять на него глаза. Лихорадочная дрожь ее еще продолжалась. Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги. Прошло минут пять или более.

— Я о деле пришел говорить, — громко и нахмурившись проговорил вдруг Раскольников, встал и подошел к Соне. Та молча подняла на него глаза. Взгляд его был особенно суров, и какая-то дикая решимость выражалась в нем.

— Я сегодня родных бросил, — сказал он, — мать и сестру. Я не пойду к ним теперь. Я там всё разорвал.

— Зачем? — как ошеломленная спросила Соня. Давешняя встреча с его матерью и сестрой оставила в ней необыкновенное впечатление, хотя и самой ей неясное. Известие о разрыве выслушала она почти с ужасом.

— У меня теперь одна ты, — прибавил он. — Пойдем вместе... Я пришел к тебе. Мы вместе прокляты, вместе и пойдем!

Глаза его сверкали. «Как полоумный!» — подумала в свою очередь Соня.

— Куда идти? — в страхе спросила она и невольно отступила назад. — Почему ж я знаю? Знаю только, что по одной дороге, наверно знаю, — и только. Одна цель! Она смотрела на него, и ничего не понимала. Она понимала только, что он ужасно, бесконечно несчастен.

— Никто ничего не поймет из них, если ты будешь говорить им, — продолжал он, — а я понял. Ты мне нужна, потому я к тебе и пришел.

— Не понимаю... — прошептала Соня.

— Потом поймешь. Разве ты не то же сделала? Ты тоже переступила... смогла переступить. Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь... свою (это всё равно!). Ты могла бы жить духом и разумом, а кончишь на Сенной... Но ты выдержать не можешь, и если останешься одна, сойдешь с ума, как и я. Ты уж и теперь как помешанная; стало быть, нам вместе идти, по одной дороге! Пойдем!

— Зачем? Зачем вы это! — проговорила Соня, странно и мятежно взволнованная его словами.

— Зачем? Потому что так нельзя оставаться — вот зачем! Надо же, наконец, рассудить серьезно и прямо, а не по-детски плакать и кричать, что бог не допустит! Ну что будет, если в самом деле тебя завтра в больницу свезут? Та не в уме и чахоточная, умрет скоро, а дети? Разве Пюльчик не погибнет? Неужели не видала ты здесь детей, по углам, которых матери милостыню высылают просить? Я узнавал, где живут эти матери и в какой обстановке. Там детям нельзя оставаться детьми. Там семилетний развратен и вор. А ведь дети — образ Христов: «Сих есть царствие божие». Он велел их чтить и любить, они будущее человечество...

— Что же, что же делать? — истерически плача и ломая руки повторяла Соня. — Что делать? Сломать, что надо, раз навсегда, да и только: и страдание взять на себя! Что? Не понимаешь? После поймешь... Свободу и власть, а главное власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!.. Вот цель! Помни это! Это мое тебе напутствие! Может, я с тобой в последний раз говорю. Если не приду завтра, услышишь про всё сама, и тогда припомни эти теперешние слова. И когда-нибудь, потом, через годы, с жизнью, может, и поймешь, что они значили. Если же приду завтра, то скажу тебе, кто убил Лизавету. Прощай!

Соня вся вздрогнула от испуга.

— Да разве вы знаете, кто убил? — спросила она, леденя от ужаса и дико смотря на него.

— Знаю и скажу... Тебе, одной тебе! Я тебя выбрал. Я не прощения приду просить к тебе, я просто скажу. Я тебя давно выбрал, чтоб это сказать тебе, еще тогда, когда отец про тебя

говорил и когда Лизавета была жива, я это подумал. Прощай. Руки не давай. Завтра!

Он вышел. Соня смотрела на него как на помешанного; но она и сама была как безумная и чувствовала это. Голова у ней кружилась. «Господи! как он знает, кто убил Лизавету? Что значили эти слова? Страшно это!» Но в то же время мысль не приходила ей в голову. Никак! Никак!.. «О, он должен быть ужасно несчастен!.. Он бросил мать и сестру. Зачем? Что было? И что у него в намерениях? Что это он ей говорил? Он ей поцеловал ногу и говорил... говорил (да, он ясно это сказал), что без нее уже жить не может... О господи!»

В лихорадке и в бреду провела всю ночь Соня. Она вскакивала иногда, плакала, руки ломала, то забывалась опять лихорадочным сном, и ей снились Полечка, Катерина Ивановна, Лизавета, чтение Евангелия и он... он, с его бледным лицом, с горящими глазами... Он целует ей ноги, плачет... О господи!

За дверью справа, за тою самую дверью, которая отделяла квартиру Сони от квартиры Гертруды Карловны Ресслих, была комната промежуточная, давно уже пустая, принадлежавшая к квартире госпожи Ресслих и отдававшаяся от нее внаем, о чем и выставлены были ярлычки на воротах и наклеены бумажечки на стеклах окон, выходивших на канаву. Соня издавна привыкла считать эту комнату необитаемою. А между тем, всё это время, у двери в пустой комнате простоял господин Свидригайлов и, притаившись, подслушивал.

Когда Раскольников вышел, он постоял, подумал, сходил на цыпочках в свою комнату, смежную с пустою комнатою, достал стул и неслышно принес его к самым дверям, ведущим в комнату Сони. Разговор показался ему занимательным и знаменательным, и очень, очень понравился, — до того понравился, что он и стул перенес, чтобы на будущее время, хоть завтра например, не подвергаться опять неприятности простоять целый час на ногах, а устроиться покомфортнее, чтоб уж во всех отношениях получить полное удовольствие.



Роман
«ИДИОТ»

Часть 4. Глава XI

(в сокращении)

<...> Князь вышел и некоторое время ходил в раздумье по тротуару. Окна комнат, занимаемых Рогожиным, были все заперты; окна половины, занятой его матерью, почти все были отперты; день был ясный, жаркий; князь перешел через улицу на противоположный тротуар и остановился взглянуть еще раз на окна: не только они были заперты, но почти везде были опущены белые шторы.

Он стоял с минуту, и — странно — вдруг ему показалось, что край одной шторы приподнялся и мелькнуло лицо Рогожина, мелькнуло и исчезло в то же мгновение. Он подождал еще и уже решил было идти и звонить опять, но раздумал и отложил на час: «А кто знает, может, оно только померещилось...».

Главное, он спешил теперь в Измайловский полк, на бывшую недавно квартиру Настасьи Филипповны. Ему известно было, что она, переехав, по его просьбе, три недели назад из Павловска, поселилась в Измайловском полку у одной бывшей своей доброй знакомой, вдовы-учительши, семейной и почтенной дамы, которая отдавала от себя хорошую меблированную квартиру, чем почти и жила. Вероятнее всего, что Настасья Филипповна, переселяясь опять в Павловск, оставила квартиру за собой; по крайней мере, весьма вероятно, что она ночевала в этой квартире, куда, конечно, доставил ее вчера Рогожин. Князь взял извозчика. Дорогой ему пришло в голову, что отсюда и следовало бы начать, потому что невероятно, чтоб она приехала прямо ночью к Рогожину. Тут припомнились ему и слова дворника, что Настасья Филипповна не часто изволила жаловать.

Если и без того не часто, то с какой стати теперь останавливаться у Рогожина? Ободряя себя этими утешениями, князь приехал наконец в Измайловский полк ни жив ни мертв.

К совершенному поражению его, у учительши не только не слышали ни вчера, ни сегодня о Настасье Филипповне, но на него самого выбежали смотреть как на чудо. Всё многочисленное семейство учительши, — всё девочки и погодки, начиная с пятнадцати до семи лет, — высыпало вслед за матерью и окружило его, разинув на него рты. За ними вышла тощая, желтая тетка их, в черном платке, и, наконец, показалась бабушка семейства, старенькая старушка в очках. Учительша очень просила войти и сесть, что князь и исполнил. Он тотчас догадался, что им совершенно известно, кто он такой, и что они отлично знают, что вчера должна была быть его свадьба, и умирают от желания расспросить и о свадьбе и о том чуде, что вот он спрашивает у них о той, которая должна бы быть теперь не иначе как с ним вместе, в Павловске, но деликатятся. В кратких чертах он удовлетворил их любопытство насчет свадьбы. Начались удивления, ахи и вскрикивания, так что он принужден был рассказать почти и всё остальное, в главных чертах разумеется. Наконец совет премудрых и волновавшихся дам решил, что надо непременно и прежде всего достучаться к Рогожину и узнать от него обо всем положительно. Если же его нет дома (о чем узнать наверно) или он не захочет сказать, то съездить в Семеновский полк, к одной даме, немке, знакомой Настасьи Филипповны, которая живет с матерью: может быть, Настасья Филипповна, в своем волнении и желая скрыться, заночевала у них. Князь встал совершенно убитый; они рассказывали потом, что он «ужасно как побледнел»; действительно, у него почти подсекались ноги. Наконец сквозь ужасную трескотню голосов он различил, что они уговариваются действовать вместе с ним и спрашивают его городской адрес. Адреса у него не оказалось; посоветовали где-нибудь остановиться в гостинице. Князь подумал и дал адрес своей прежней гостиницы, той самой, где с ним неделю пять назад был припадок. Затем отправился опять к Рогожину.

На этот раз не только не отворили у Рогожина, но не отворилась даже и дверь в квартиру старушки. Князь сошел к дворнику и насилиу отыскал его на дворе; дворник был чем-то занят и едва отвечал, едва даже глядел, но все-таки объ-

вил положительно, что Парфен Семенович «вышел с самого раннего утра, уехал в Павловск и домой сегодня не будет».

— Я подожду; может, он к вечеру будет?

— А может, и неделю не будет, кто его знает.

— Стало быть, все-таки ночевал же сегодня?

— Ночевал-то он ночевал...

Всё это было подозрительно и нечисто. Дворник, очень, могло быть, успел в этот промежуток получить новые инструкции: давеча даже был болтлив, а теперь просто отворачивается. Но князь решил еще раз зайти часа через два и даже постеречь у дома, если надо будет, а теперь оставалась еще надежда у немки, и он поскакал в Семеновский полк.

Но у немки его даже и не поняли. По некоторым промелькнувшим словечкам он даже мог догадаться, что красавица немка, недели две тому назад, рассорилась с Настасьей Филипповной, так что во все эти дни о ней ничего не слышала, и всеми силами давала теперь знать, что и не интересуется слышать, «хотя бы она за всех князей в мире вышла». Князь поспешил выйти. Ему пришла, между прочим, мысль, что она, может быть, уехала, как тогда, в Москву, а Рогожин, разумеется, за ней, а может, и с ней. «По крайней мере хоть какие-нибудь следы отыскать!». Он вспомнил, однако, что ему нужно остановиться в трактире, и поспешил на Литейную; там тотчас же отвели ему номер. Коридорный осведомился, не желает ли он закусить; он в рассеянии ответил, что желает, и, спохватившись, ужасно бесился на себя, что закуска задержала его лишних полчаса, и только потом догадался, что его ничто не связывало оставить поданную закуску и не закусывать. Странное ощущение овладело им в этом тусклом и душном коридоре, ощущение, мучительно стремившееся осуществиться в какую-то мысль; но он всё не мог догадаться, в чем состояла эта новая напрашивающаяся мысль. Он вышел наконец сам не свой из трактира; голова его кружилась; но — куда, однако же, ехать? Он бросился опять к Рогожину.

Рогожин не возвращался; на звон не отпирали; он позвонил к старушке Рогожиной; отперли и тоже объявили, что Парфена Семеновича нет и, может, дня три не будет. Смущало князя то, что его по-прежнему с таким диким любо-

пытством осматривали. Дворника на этот раз он совсем не нашел. Он вышел, как давеча, на противоположный тротуар, смотрел на окна и ходил на мучительном зное с полчаса, может и больше; на этот раз ничего не шевельнулось; окна не отворились, белые створы были неподвижны. Ему окончательно пришло в голову, что, наверно, и давеча ему только так померещилось, что даже и окна, по всему видно, были так тусклы и так давно не мыты, что трудно было бы различить, если бы даже и в самом деле посмотрел кто-нибудь сквозь стекла. Обрадовавшись этой мысли, он поехал опять в Измайловский полк к учительше.

Там его уже ждали. Учительша уже перебивалась в трех, в четырех местах и даже заезжала к Рогожину: ни слуху ни духу. Князь выслушал молча, вошел в комнату, сел на диван и стал смотреть на всех, как бы не понимая, о чем ему говорят. Странно: то был он чрезвычайно заметлив, то вдруг становился рассеян до невозможности. Всё семейство заявляло потом, что это был «на удивление» странный человек в этот день, так что, «может, тогда уже всё и обозначилось». Он наконец поднялся и попросил, чтоб ему показали комнаты Настасьи Филипповны. Это были две большие, светлые, высокие комнаты, весьма порядочно меблированные и не дешево стоившие. Все эти дамы рассказывали потом, что князь осматривал в комнатах каждую вещь, увидел на столике развернутую книгу из библиотеки для чтения, французский роман «Madame Bovary», заметил, загнул страницу, на которой была развернута книга, попросил позволения взять ее с собой и тут же, не выслушав возражения, что книга из библиотеки, положил ее себе в карман. Сел у отворенного окна и, увидав ломберный столик, исписанный мелом, спросил: кто играл? Они рассказали ему, что играла Настасья Филипповна каждый вечер с Рогожиным в дураки, в преферанс, в мельники, в вист, в свои козыри — во все игры, и что карты завелись только в самое последнее время, по переезде из Павловска в Петербург, потому что Настасья Филипповна всё жаловалась, что скучно и что Рогожин сидит целые вечера, молчит и говорить ни о чем не умеет, и часто плакала; и вдруг на другой вечер Рогожин вынимает из кармана карты; тут Настасья Филипповна рассмеялась, и

стали играть. Князь спросил: где карты, в которые играли? Но карт не оказалось; карты привозил всегда сам Рогожин в кармане, каждый день по новой колоде, и потом увозил с собой.

Эти дамы посоветовали съездить еще раз к Рогожину и еще раз покрепче постучаться, но не сейчас, а уже вечером: «Может, что и окажется». Сама же учительша вызвалась между тем съездить до вечера в Павловск к Дарье Алексеевне: не знают ли там чего? Князя просили пожаловать часов в десять вечера, во всяком случае, чтобы сговориться на завтрашний день. Несмотря на все утешения и обнадеживания, совершенное отчаяние овладело душой князя. В невыразимой тоске дошел он пешком до своего трактира. Летний, пыльный, душный Петербург давил его как в тисках; он толкался между суровым или пьяным народом, всматривался без цели в лица, может быть, прошел гораздо больше, чем следовало; был уже совсем почти вечер, когда он вошел в свой номер. Он решил отдохнуть немного и потом идти опять к Рогожину, как советовали, сел на диван, облокотился обоими локтями на стол и задумался.

Бог знает, сколько времени, и бог знает, о чем он думал. Многого он боялся и чувствовал, больно и мучительно, что боится ужасно. Пришла ему в голову Вера Лебедева; потом подумалось, что, может, Лебедев и знает что-нибудь в этом деле, а если не знает, то может узнать и скорее, и легче его. Потом вспомнился ему Ипполит и то, что Рогожин к Ипполиту ездил. Потом вспомнился сам Рогожин: недавно на отпевании, потом в парке, потом — вдруг здесь в коридоре, когда он спрятался тогда в углу и ждал его с ножом. Глаза его теперь ему вспоминались, глаза, смотревшие тогда в темноте. Он вздрогнул: давешняя напрашивавшаяся мысль вдруг вошла ему теперь в голову.

Она состояла отчасти в том, что если Рогожин в Петербурге, то хотя бы он и скрывался на время, а все-таки непременно кончит тем, что придет к нему, к князю, с добрым или с дурным намерением, пожалуй, хоть как тогда. По крайней мере, если бы Рогожину почему-нибудь понадобилось прийти, то ему некуда больше идти, как сюда, опять в этот же коридор. Адреса он не знает; стало быть, очень

может подумать, что князь в прежнем трактире остановился; по крайней мере попробует здесь поискать... если уж очень понадобится. А почему знать, может быть, ему и очень понадобится?

Так он думал, и мысль эта казалась ему почему-то совершенно возможною. Он ни за что бы не дал себе отчета, если бы стал углубляться в свою мысль: «Почему, например, он так вдруг понадобится Рогожину и почему даже быть того не может, чтоб они наконец не сошлись?». Но мысль была тяжелая: «Если ему хорошо, то он не придет, — продолжал думать князь, — он скорее придет, если ему нехорошо; а ему ведь наверно нехорошо...».

Конечно, при таком убеждении, следовало бы ждать Рогожина дома, в номере; но он как будто не мог вынести своей новой мысли, вскочил, схватил шляпу и побежал. В коридоре было уже почти совсем темно: «Что, если он вдруг теперь выйдет из того угла и остановит меня у лестницы?» — мелькнуло ему, когда он подходил к знакомому месту. Но никто не вышел. Он спустился под ворота, вышел на тротуар, удивился густой толпе народа, высыпающего с закатом солнца на улицу (как и всегда в Петербурге в каникулярное время), и пошел по направлению к Гороховой. В пятидесяти шагах от трактира, на первом перекрестке, в толпе, кто-то вдруг тронул его за локоть и вполголоса проговорил над самым ухом:

— Лев Николаевич, ступай, брат, за мной, надоть.

Это был Рогожин.

Странно: князь начал ему вдруг, с радости, рассказывать, лепеча и почти не договаривая слов, как он ждал его сейчас в коридоре, в трактире.

— Я там был, — неожиданно ответил Рогожин, — пойдем.

Князь удивился ответу, но он удивился спустя уже по крайней мере две минуты, когда сообразил. Сообразив ответ, он испугался и стал приглядываться к Рогожину. Тот уже шел почти на полшага впереди, смотря прямо перед собой и не взглядывая ни на кого из встречных, с машинальною осторожностью давая всем дорогу.

— Зачем же ты меня в номере не спросил... коли был в трактире? — спросил вдруг князь.

Рогожин остановился, посмотрел на него, подумал и, как бы совсем не поняв вопроса, сказал:

— Вот что, Лев Николаевич, ты иди здесь прямо, вплоть до дому, знаешь? А я пойду по той стороне. Да поглядывай, чтобы нам вместе...

Сказав это, он перешел через улицу, ступил на противоположный тротуар, поглядел, идет ли князь, и, видя, что он стоит и смотрит на него во все глаза, махнул ему рукой к стороне Гороховой и пошел, поминутно поворачиваясь взглянуть на князя и приглашая его за собой. Он был видимо ободрен, увидев, что князь понял его и не переходит к нему с другого тротуара. Князю пришло в голову, что Рогожину надо кого-то высмотреть и не пропустить на дороге и что потому он и перешел на другой тротуар. «Только зачем же он не сказал, кого смотреть надо?». Так прошли они шагов пятьсот, и вдруг князь начал почему-то дрожать; Рогожин хоть и реже, но не переставал оглядываться; князь не выдержал и поманил его рукой. Тот тотчас же перешел к нему через улицу.

— Настасья Филипповна разве у тебя?

— У меня.

— А давеча это ты в окно на меня из-за гардины смотрел?

— Я...

— Как же ты...

Но князь не знал, что спросить дальше и чем окончить вопрос; к тому же сердце его так стучало, что и говорить трудно было. Рогожин тоже молчал и смотрел на него по-прежнему, то есть как бы в задумчивости.

— Ну, я пойду, — сказал он вдруг, приготовляясь опять переходить, — а ты себе иди. Пусть мы на улице розно будем... так нам лучше... по разным сторонам... увидишь.

Когда наконец они повернули с двух разных тротуаров в Гороховую и стали подходить к дому Рогожина, у князя стали опять подсекаться ноги, так что почти трудно было уж и идти. Было уже около десяти часов вечера. Окна на половине старушки стояли, как и давеча, открытые, у Рогожина закрытые, и в сумерках как бы еще заметнее становились на них белые спущенные сторы. Князь подошел к дому с про-

тивоположного тротуара; Рогожин же с своего тротуара ступил на крыльцо и махал ему рукой. Князь перешел к нему на крыльцо.

— Про меня и дворник не знает теперь, что я домой воротился. Я сказал давеча, что в Павловск еду, и у матушки тоже сказал, — прошептал он с хитрою и почти довольною улыбкой, — мы войдем, и не услышит никто.

В руках его уже был ключ. Поднимаясь по лестнице, он обернулся и погрозил князю, чтобы тот шел тише, тихо отпер дверь в свои комнаты, впустил князя, осторожно прошел за ним, запер дверь за собой и положил ключ в карман.

— Пойдем, — произнес он шепотом.

Он еще с тротуара на Литейной заговорил шепотом. Несмотря на всё свое наружное спокойствие, он был в какой-то глубокой внутренней тревоге. Когда вошли в залу, пред самым кабинетом, он подошел к окну и таинственно поманил к себе князя:

— Вот ты как давеча ко мне зазвонил, я тотчас здесь и догадался, что это ты самый и есть; подошел к дверям на цыпочках и слышу, что ты с Пафнутьевной разговариваешь, а я уж той чем свет заказал: если ты, или от тебя кто, али кто бы то ни был начнет ко мне стучать, так чтобы не сказываться ни под каким видом; а особенно если ты сам придешь меня спрашивать, и имя твое ей объявил. А потом, как ты вышел, мне пришло в голову: что, если он тут теперь стоит и выглядывает али сторожит чего с улицы? Подошел я к этому самому окну, отвернул гардину-то, глядь, а ты там стоишь, прямо на меня смотришь... Вот как это дело было.

— Где же... Настасья Филипповна? — выговорил князь задыхаясь.

— Она... здесь, — медленно проговорил Рогожин, как бы капельку выждав ответить.

— Где же?

Рогожин поднял глаза на князя и пристально посмотрел на него:

— Пойдем...

Он всё говорил шепотом и не торопясь, медленно и по-прежнему как-то странно задумчиво. Даже когда про стору

рассказывал, то как будто рассказом своим хотел высказать что-то другое, несмотря на всю экспансивность рассказа.

Вошли в кабинет. В этой комнате, с тех пор как был в ней князь, произошла некоторая перемена: через всю комнату протянута была зеленая, штофная, шелковая занавеска, с двумя входами по обоим концам, и отделяла от кабинета альков, в котором устроена была постель Рогожина. Тяжелая занавеска была спущена и входы закрыты. Но в комнате было очень темно; летние «белые» петербургские ночи начинали темнеть, и если бы не полная луна, то в темных комнатах Рогожина, с опущенными сторами, трудно было бы что-нибудь разглядеть. Правда, можно было еще различать лица, хотя очень неотчетливо. Лицо Рогожина было бледно, по обыкновению; глаза смотрели на князя пристально, с сильным блеском, но как-то неподвижно.

— Ты бы свечку зажег? — сказал князь.

— Нет, не надо, — ответил Рогожин и, взяв князя за руку, нагнул его к стулу; сам сел напротив, придвинул стул так, что почти соприкасался с князем коленями. Между ними, несколько сбоку, приходился маленький круглый столик. — Садись, посидим пока! — сказал он, словно уговаривая посидеть. С минуту молчали. — Я так и знал, что ты в эфтом же трактире остановишься, — заговорил он, как иногда, приступая к главному разговору, начинают с посторонних подробностей, не относящихся прямо к делу, — как в коридор зашел, то и подумал: а ведь, может, и он сидит, меня ждет теперь, как я его, в эту же самую минуту? У учительши-то был?

— Был, — едва мог выговорить князь от сильного биения сердца.

— Я и об том подумал. Еще разговор пойдет, думаю... а потом еще думаю: я его ночевать сюда приведу, так чтоб эту ночь вместе...

— Рогожин! Где Настасья Филипповна? — прошептал вдруг князь и встал, дрожа всеми членами. Поднялся и Рогожин.

— Там, — шепнул он, кивнув головой на занавеску.

— Спит? — шепнул князь.

Опять Рогожин посмотрел на него пристально, как давеча.

— Аль уж пойдем!.. Только ты... ну, да пойдем!

Он приподнял портьеру, остановился и оборотился опять к князю.

— Входи! — кивал он за портьеру, приглашая проходить вперед. Князь прошел.

— Тут темно, — сказал он.

— Видать! — пробормотал Рогожин.

— Я чуть вижу... кровать.

— Подойди ближе-то, — тихо предложил Рогожин.

Князь шагнул еще ближе, шаг, другой, и остановился. Он стоял и всматривался минуту или две; оба, во всё время, у кровати ничего не выговорили; у князя билось сердце так, что, казалось, слышно было в комнате, при мертвом молчании комнаты. Но он уже пригляделся, так что мог различать всю постель; на ней кто-то спал, совершенно неподвижным сном; не слышно было ни малейшего шелеста, ни малейшего дыхания. Спавший был закрыт с головой белой простыней, но члены как-то неясно обозначались; видно только было, по возвышению, что лежит протянувшись человек. Кругом в беспорядке, на постели, в ногах, у самой кровати на креслах, на полу даже, разбросана была снятая одежда, богатое белое шелковое платье, цветы, ленты. На маленьком столике, у изголовья, блистали снятые и разбросанные бриллианты.

В ногах сбиты были в комок какие-то кружева, и на белевших кружевах, выглядывая из-под простыни, обозначался кончик обнаженной ноги; он казался как бы выточенным из мрамора и ужасно был неподвижен. Князь глядел и чувствовал, что, чем больше он глядит, тем еще мертвее и тише становится в комнате. Вдруг зажужжала проснувшаяся муха, пронеслась над кроватью и затихла у изголовья. Князь вздрогнул.

— Выйдем, — тронул его за руку Рогожин.

Они вышли, уселись опять в тех же стульях, опять один против другого. Князь дрожал всё сильнее и сильнее и не спускал своего вопросительного взгляда с лица Рогожина.

— Ты вот, я замечаю, Лев Николаевич, дрожишь, — проговорил наконец Рогожин, — почти так, как когда с тобой бывает твое расстройство, помнишь, в Москве было? Или

как раз было перед припадком. И не придумаю, что теперь с тобой буду делать...

Князь вслушивался, напрягая все силы, чтобы понять, и всё спрашивая взглядом.

— Это ты? — выговорил он наконец, кивнув головой на портьеру.

— Это... я... — прошептал Рогожин и потупился.

Помолчали минут пять.

— Потому, — стал продолжать вдруг Рогожин, как будто и не прерывал речи, — потому как если твоя болезнь, и припадок, и крик теперь, то, пожалуй, с улицы аль со двора кто и услышит, и догадаются, что в квартире ночуют люди; станут стучать, войдут... потому они все думают, что меня дома нет. Я и свечи не зажег, чтобы с улицы аль со двора не догадались. Потому, когда меня нет, я и ключи увожу, и никто без меня по три, по четыре дня и прибираться не входит, таково мое заведение. Так вот, чтоб не узнали, что мы заночуем...

— Постой, — сказал князь, — я давеча и дворника и старушку спрашивал: не ночевала ли Настасья Филипповна? Они, стало быть, уже знают.

— Знаю, что ты спрашивал. Я Пафнутьевне сказал, что вчера захала Настасья Филипповна и вчера же в Павловск уехала, а что у меня десять минут пробыла. И не знают они, что она ночевала, — никто. Вчера мы так же вошли, совсем потихоньку, как сегодня с тобой. Я еще про себя подумал дорогой, что она не захочет потихоньку входить, — куды! Шепчет, на цыпочках прошла, платье обобрала около себя, чтобы не шумело, в руках несет, мне сама пальцем на лестнице грозит, — это она тебя всё пужалась. На машине как сумасшедшая совсем была, всё от страху, и сама сюда ко мне пожелала заночевать; я думал сначала на квартиру к учительше везти, — куды! «Там он меня, говорит, чем свет разыщет, а ты меня скроешь, а завтра чем свет в Москву», а потом в Орел куда-то хотела. И ложилась, всё говорила, что в Орел поедем...

— Постой; что же ты теперь, Парфен, как же хочешь?

— Да вот сумлеваюсь на тебя, что ты всё дрожишь. Ночь мы здесь заночуем, вместе. Постели, окромя той, тут нет, а

я так придумал, что с обоих диванов подушки снять, и вот тут, у занавески, рядом и постелю, и тебе и мне, так чтобы вместе. Потому, коли войдут, станут осматривать али искать, ее тотчас увидят и вынесут. Станут меня опрашивать, я расскажу, что я, и меня тотчас отведут. Так пусть уж она теперь тут лежит, подле нас, подле меня и тебя...

— Да, да! — с жаром подтвердил князь.

— Значит, не признаваться и выносить не давать.

— Н-ни за что! — решил князь, — ни-ни-ни!

— Так я и порешил, чтоб ни за что, парень, и никому не отдавать! Ночью проночуем тихо. Я сегодня только на час один и из дому вышел, поутру, а то всё при ней был. Да потом повечеру за тобой пошел. Боюсь вот тоже еще, что душно и дух пойдет. Слышишь ты дух или нет?

— Может, и слышу, не знаю. К утру наверно пойдет.

— Я ее клеенкой накрыл, хорошею, американскою клеенкой, а сверх клеенки уж простыней, и четыре стклянки ждановской жидкости откупоренной поставил, там и теперь стоят.

— Это как там... в Москве?

— Потому, брат, дух. А она ведь как лежит... К утру, как посветлеет, посмотри. Что ты, и встать не можешь? — с боязливым удивлением спросил Рогожин, видя, что князь так дрожит, что и подняться не может.

— Ноги нейдут, — пробормотал князь, — это от страху, это я знаю... Пройдет страх, я и стану...

— Постой же, я пока нам постель постелю, и пусть уж ты ляжешь... и я с тобой... и будем слушать... потому я, парень, еще не знаю... я, парень, еще всего не знаю теперь, так и тебе заранее говорю, чтобы ты всё про это заранее знал...

Бормоча эти неясные слова, Рогожин начал стлать постели. Видно было, что он эти постели, может, еще утром про себя придумал. Прошлую ночь он сам ложился на диване. Но на диване двоим рядом нельзя было лечь, а он непременно хотел постлать теперь рядом, вот почему и стащил теперь, с большими усилиями, через всю комнату, к самому входу за занавеску, разнокалиберные подушки с обоих диванов. Кое-как постель устроилась; он подошел к князю, нежно и восторженно взял его за руку, приподнял и подвел

к постели; но оказалось, что князь и сам мог ходить; значит, «страх проходил»; и однако же, он все-таки продолжал дрожать.

— Потому оно, брат, — начал вдруг Рогожин, уложив князя на левую, лучшую подушку и протянувшись сам с правой стороны, не раздеваясь и закинув обе руки за голову, — ноне жарко, и, известно, дух... Окна я отворять боюсь; а есть у матери горшки с цветами, много цветов, и прекрасный от них такой дух; думал перенести, да Пафнутьевна догадается, потому она любопытная.

— Она любопытная, — поддакнул князь.

— Купить разве, пукетами и цветами всю обложить? Да, думаю, жалко будет, друг, в цветах-то!

— Слушай... — спросил князь, точно запутываясь, точно отыскивая, что именно надо спросить, и как бы тотчас же забывая, — слушай, скажи мне: чем ты ее? Ножом? Тем самым?

— Тем самым.

— Стой еще! Я, Парфен, еще хочу тебя спросить... я много буду тебя спрашивать, обо всем... но ты лучше мне сначала скажи, с первого начала, чтоб я знал: хотел ты убить ее перед моей свадьбой, перед венцом, на паперти, ножом? Хотел или нет?

— Не знаю, хотел или нет... — сухо ответил Рогожин, как бы даже несколько подивившись на вопрос и не уразумевая его.

— Ножа с собой никогда в Павловск не привозил?

— Никогда не привозил. Я про нож этот только вот что могу тебе сказать, Лев Николаевич, — прибавил он, помолчав, — я его из запертого ящика ноне утром достал, потому что всё дело было утром, в четвертом часу. Он у меня всё в книге заложен лежал... И... и вот еще что мне чудно: совсем нож как бы на полтора... али даже на два вершка прошел... под самую левую грудь... а крови всего этак с пол-ложки столовой на рубашку вытекло; больше не было...

— Это, это, это, — приподнялся вдруг князь в ужасном волнении, — это, это я знаю, это я читал... это внутреннее излияние называется... Бывает, что даже и ни капли. Это коль удар прямо в сердце...

— Стой, слышишь? — быстро перебил вдруг Рогожин и испуганно присел на подстилке, — слышишь?

— Нет! — так же быстро и испуганно выговорил князь, смотря на Рогожина.

— Ходит! Слышишь? В зале...

Оба стали слушать.

— Слышу, — твердо прошептал князь.

— Ходит?

— Ходит.

— Затворить али нет дверь?

— Затворить...

Дверь затворили, и оба опять улеглись.

Долго молчали.

— Ах, да! — зашептал вдруг князь прежним взволнованным и торопливым шепотом, как бы поймав опять мысль и ужасно боясь опять потерять ее, даже привскочив на постели, — да... я ведь хотел... эти карты! карты... Ты, говорят, с нею в карты играл?

— Играл, — сказал Рогожин после некоторого молчания.

— Где же... карты?

— Здесь карты... — выговорил Рогожин, помолчав еще больше, — вот...

Он вынул игранную, завернутую в бумажку колоду из кармана и протянул к князю. Тот взял, но как бы с недоумением. Новое, грустное и безотрадное чувство сдавило ему сердце; он вдруг понял, что в эту минуту, и давно уже, всё говорит не о том, о чем надо ему говорить, и делает всё не то, что бы надо делать, и что вот эти карты, которые он держит в руках и которым он так обрадовался, ничему, ничему не помогут теперь. Он встал и всплеснул руками. Рогожин лежал неподвижно и как бы не слышал и не видал его движения; но глаза его ярко блистали сквозь темноту и были совершенно открыты и неподвижны. Князь сел на стул и стал со страхом смотреть на него. Прошло с полчаса; вдруг Рогожин громко и отрывисто закричал и захохотал, как бы забыв, что надо говорить шепотом:

— Офицера-то, офицера-то... помнишь, как она офицера того, на музыке, хлестнула, помнишь, ха-ха-ха! Еще кадет... кадет... кадет подскочил...

Князь вскочил со стула в новом испуге. Когда Рогожин затих (а он вдруг затих), князь тихо нагнулся к нему, уселся с ним рядом и с сильно бьющимся сердцем, тяжело дыша, стал его рассматривать. Рогожин не поворачивал к нему головы и как бы даже и забыл о нем. Князь смотрел и ждал; время шло, начинало светать. Рогожин изредка и вдруг начинал иногда бормотать, громко, резко и бессвязно; начинал вскрикивать и смеяться; князь протягивал к нему тогда свою дрожащую руку и тихо дотрогивался до его головы, до его волос, гладил их и гладил его щеки... больше он ничего не мог сделать! Он сам опять начал дрожать, и опять как бы вдруг отнялись его ноги. Какое-то совсем новое ощущение томило его сердце бесконечною тоской. Между тем совсем рассвело; наконец он прилег на подушку, как бы совсем уже в бессилии и в отчаянии, и прижался своим лицом к бледному и неподвижному лицу Рогожина; слезы текли из его глаз на щеки Рогожина, но, может быть, он уж и не слышал тогда своих собственных слез и уже не знал ничего о них....

По крайней мере, когда, уже после многих часов, отворилась дверь и вошли люди, то они застали убийцу в полном беспомоществе и горячке. Князь сидел подле него неподвижно на подстилке и тихо, каждый раз при взрывах крика или бреда больного, спешил провести дрожащею рукой по его волосам и щекам, как бы лаская и унимая его. Но он уже ничего не понимал, о чем его спрашивали, и не узнавал вошедших и окруживших его людей. И если бы сам Шнейдер явился теперь из Швейцарии взглянуть на своего бывшего ученика и пациента, то и он, припомнив то состояние, в котором бывал иногда князь в первый год лечения своего в Швейцарии, махнул бы теперь рукой и сказал бы, как тогда: «Идиот!».



Критики о романах Достоевского

Каков же идеал Достоевского? Первая черта этого идеала и высочайшая — это не отчаиваться искать в самом забитом, опозоренном и даже преступном человеке высоких и чест-

ных чувств. Надпись на доме одного древнего философа «Intrate nam et hic dei sunt» (лат. — входите, ибо здесь боги) можно было бы начертать на многих изображениях Достоевского. Вот маленький чиновник, необразованный, бедный, а всякий ли сумеет так искренне и горячо любить близкого, так деликатно, осторожно помогать ему, так тихо и скромно жертвовать своим покоем и удобством. Вот вечно пьяный, сбившийся с пути, низко упавший нравственно штабс-капитан, который умеет, однако, глубоко любить свою обузу — семью, умеет безутешно горевать над могилой маленького сына и в минуту просветления заговорить гордым голосом человеческого достоинства. Вот преступник, проявляющий черты сильной товарищеской приязни, сострадание. И таких примеров десятки. Другая черта идеала Достоевского — это убеждение, что одна любовь к людям может возвысить человека и дать ему настоящую цель в жизни...

Любовь к людям у Достоевского — это живая и деятельная христианская любовь, неразрывная с желанием помогать и самопожертвованием... Поэзия Достоевского — это поэзия чистого сердца...

(И.Ф. Анненский. Из очерка «Речь о Достоевском»)

«Настоящей и единственной причиной являются все-таки тяжелые обстоятельства, пришедшиеся не по силам нашему раздражительному и нетерпеливому герою, которому легче было разом броситься в пропасть, чем выдерживать в продолжение нескольких месяцев или даже лет глухую, темную и изнурительную борьбу с крупными и мелкими лишениями.

Преступление сделано не потому, что Раскольников путем различных философствований убедил себя в его законности, разумности и необходимости. Напротив того, Раскольников стал философствовать в этом направлении и убедил себя только потому, что обстоятельства натолкнули его на преступление. Теория Раскольникова сделана им на заказ. Сооружая эту теорию, Раскольников не был беспристрастным мыслителем, отыскивающим чистую истину и готовым принять эту истину, в каком бы неожиданном и даже не-

приятном виде она ему ни представилась. Он был кляузником, подбирающим факты, придумывающим натянутые доказательства...»

(Д.И. Писарев. «Борьба за жизнь», 1867 г.)

«Мы считаем Достоевского одним из величайших новаторов в области художественной формы. Он создал, по нашему убеждению, совершенно новый тип художественного мышления, который мы условно назвали полифоническим. Этот тип художественного мышления нашел своё выражение в романах Достоевского, но его значение выходит за пределы только романного творчества и касается некоторых основных принципов европейской эстетики. Можно даже сказать, что Достоевский создал как бы новую художественную модель мира, в которой многие из основных моментов старой художественной формы подверглись коренному преобразованию <...>.

(Бахтин М.М., Проблемы поэтики Достоевского)

«... Раскольников есть истинно русский человек именно в том, что дошел до конца, до края той дороги, на которую его завел заблудший ум. Эта черта русских людей, черта чрезвычайной серьезности, как бы религиозности, с которой они предаются своим идеям, есть причина многих наших бед.

Мы любим отдаваться цельно, без уступок, без остановок на полдороге; мы не хитрим и не лукавим сами с собою, а потому и не терпим мировых сделок между своею мыслью и действительностью. Можно надеяться, что это драгоценное, великое свойство русской души когда-нибудь проявится в истинно прекрасных делах и характерах. Теперь же, при нравственной смуте, господствующей в одних частях нашего общества, при пустоте, господствующей в других, наше свойство доходить во всем до краю — так или иначе — портит жизнь и даже губит людей...».

(Н.Н. Страхов: «Преступление и наказание». «Отечественные записки», 1867 г.)

В произведениях Достоевского мы находим одну общую черту, более или менее заметную во всем, что он писал: это

боль о человеке, который признает себя не в силах, или наконец, даже не вправе быть человеком настоящим, полным, самостоятельным человеком, самим по себе. Каждый человек должен быть человеком и относиться к другим, как человек к человеку.

(Н.А. Добролюбов. Из воспоминаний о Достоевском)

«В романе Достоевского дело не в интриге, а в психологическом анализе, в типах, в тех бесконечно разнообразных картинах жизни, которые он рисует. ...Да что там говорить!.. Достоевского надобно читать, раз, второй, третий, и каждый раз найдешь новые красоты. «Братья Карамазовы» — это целый мир русских типов»

(Н.Н. Страхов. Санкт-Петербургские ведомости, 1875)

Вопросы и задания:

1. Раскройте смысл названия романа «Преступление и наказание». Объясните, в чем заключается сущность «теории» Раскольникова. Что толкает героя на убийство старухи-процентщицы?
2. Как петербургские впечатления укрепляют Раскольникова в его идее? Какие жизненные ситуации встают за словами Мармеладова «когда уже некуда больше идти»?
3. Опираясь не текст, покажите, что душа Раскольникова оказывается сложнее и шире его бесчеловечной идеи.
4. Покажите на конкретных примерах, что после преступления Раскольников оказывается в разладе с окружающими людьми.
5. Раскройте психологическую суть сложных отношений Раскольникова со следователем Порфирием Петровичем.
6. Как опровергает Сонечка Мармеладова теорию Раскольникова?
7. Почему Достоевский называет героя романа «Идиот» князя Мышкина «положительно-прекрасным» человеком?
8. Почему общение Мышкина с Настасьей Филипповной обостряет свойственные ее душе противоречия?
9. Как вы оцениваете финал романа «Идиот»? Удалось ли Достоевскому реализовать свой замысел?
10. Объясните, в чем суть «карамазовщины» и «смердяковщины».



ОГЛАВЛЕНИЕ

От авторов.....	3
Предисловие.....	5
Введение.....	7

Русская проза второй половины XIX века

Иван Александрович Гончаров	20
Александр Николаевич Островский.....	56
Иван Сергеевич Тургенев	78
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин	101
Федор Михайлович Достоевский.....	134

**Nasirulla Mirsultanovich Mirkurbanov,
Galina Fyodorovna Goleva**

LITERATURA

*Oʻrta taʼlim muassasalarining 10-sinfi va oʻrta maxsus, kasb-hunar
taʼlimi muassasalarining oʻquvchilari uchun darslik*

(Rus tilida)

Choʻlpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi
Toshkent – 2017

Birinchi qism

Редактор Дильбар Мирахмедова

Художественные редакторы Насиба Адилханова

Технический редактор Елена Толочко

Корректор Дильбар Мирахмедова

Оператор Гульчехра Азизова

Номер лицензии АИ № 163. 09.11.2009. Подписано в печать 9 августа 2017 года. Формат 60×90^{1/16}. Гарнитура Times TAD. Кегли 11. Офсетная печать. Условных печатных листов 11,5. Учетно-издательских листов 10,04. Тираж 49607 экз. Договор № 97–2017. Заказ № 17-590.

Оригинал макет подготовлен издательско-полиграфическим творческим домом имени Чулпана Узбекского агентства по печати и информации. 100011. г. Ташкент, ул. Навои, 30.
Телефон (371) 244-10-45. Факс (371) 244-58-55.

Отпечатано в типографии издательско-полиграфического творческого дома «Oʻzbekiston» Узбекского агентства по печати и информации. 100011, г. Ташкент, ул. Навои, 30.

Миркурбанов, Н.

М 63 Литература [текст]: учебник для 10 класса/Н. Миркурбанов, Г. Голева. — Т.: ИПТД имени Чулпана, 2017. — 184 с.
ISBN 978-9943-05-983-2

**УДК 821.512.133(075)
ББК 83.3(0)я721**

Сведения о состоянии арендного учебника

№	Имя, фамилия ученика	Учебный год	Состояние учебника при получении	Подпись классного руководителя	Состояние учебника при сдаче	Подпись классного руководителя
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Таблица заполняется классным руководителем при передаче учебника в аренду и возвращении назад в конце учебного года. При заполнении таблицы используются следующие оценочные критерии

Новый учебник	Состояние учебника при первой передаче в аренду
Хорошо	Обложка цела, не оторвана от блока книги. Все страницы в наличии, не порваны, не выпадают из блока, на страницах нет записей и помарок.
Удовлетворительно	Обложка несколько отходит от блока, слегка помята, испачкана, края потерты; удовлетворительно восстановлена пользователем. Некоторые страницы исчерчены, выпавшие страницы приклеены. Учебник реставрирован.
Неудовлетворительно	Обложка испачкана, порвана, оторвана от блока книги или совсем отсутствует. Страницы порваны, исчерчены, в помарках, некоторых страниц не хватает. Учебник непригоден к восстановлению.